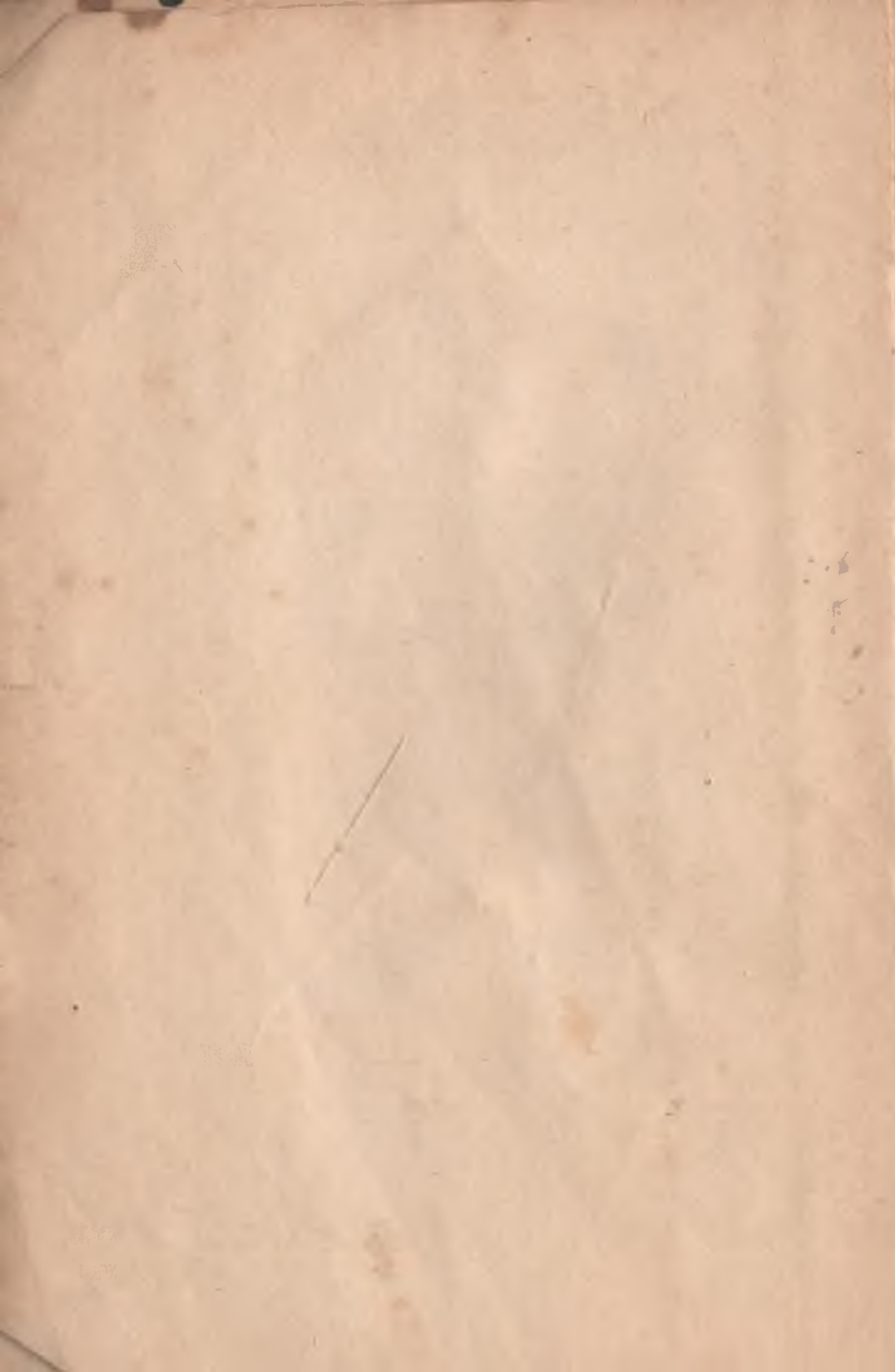




А.Н. ОСТРОВСКИЙ

ГРОЗА

ДЕТГИЗ



-077



А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Г Р О З А

ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

Рисунки
В. МИЛАШЕВСКОГО

Государственное издательство детской литературы
Н КП РСФСР
Москва 1943 Ленинград

Книг. 277.

ЛИЦА:

Савёл Прокофьевич Дикой, купец; значительное лицо в городе¹.

Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный.

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова.

Тихон Иванович Кабанов, ее сын.

Катерина, жена его.

Варвара, сестра Тихона.

Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум мобиле².

Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикого.

Шапкин, мещанин.

Феклуша, странница.

Глаша, девка в доме Кабановой.

Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет, полусумасшедшая.

Городские жители обоего пола.

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом. Между 3 и 4 действиями проходит 10 дней.

¹ Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. (Примеч. автора.)

² Перпетуум мобиле — вечный двигатель.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид.
На сцене две скамейки и несколько кустов.

Явление первое

Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку.
Кудряш и Шапкин прогуливаются.

Кулигин (поет). «Среди долины ровныя, на гладкой
высоте...» (Перестает петь.) Чудеса, истинно надобно ска-
зать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят
лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не
могу.

Кудряш. А что?

Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа ра-
дуется.

Кудряш. Нешто!

Кулигин. Восторг! А ты «нешто»! Пригляделись вы,
либо не понимаете, какая красота в природе разлита.

Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас
антик¹, химик.

¹ Антик — древность, редкость. Здесь в смысле: исключительный.

Кулигин. Механик, самоучка-механик.

Кудряш. Все одно. (Молчание.)

Кулигин (показывая в сторону). Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?

Кудряш. Это? Это — Дикой племянника ругает.

Кулигин. Нашел место!

Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.

Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.

Кудряш. Пронзительный мужик!

Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.

Кудряш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!

Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет!

Кудряш. Мало у нас парней-то на мою статью, а то бы мы его озорничать-то отучили.

Шапкин. А что бы вы сделали?

Кудряш. Постращали бы хорошенько.

Шапкин. Как это?

Кудряш. Вчетвером этак, впятером, в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался.

Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.

Кудряш. Хотел, да не отдал, так это все одно, что ничего. Не отдаст он меня, он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею.

Шапкин. Ой ли?

Кудряш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пуцай же он меня боится.

Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает?

Кудряш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он — слово, а я десять; плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.

Кулигин. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть.

Кудряш. Ну вот, коль ты умен, так ты его прежде учливости-то выучи, да потом и нас учи. Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.

Шапкин. А то что бы?

Кудряш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!

Проходят Дикой и Борис. Кулигин снимает шапку.

Шапкин (Кудряшу). Отойдем к сторонке: еще привяжется, пожалуй. (Отходят.)

Явление второе

Те же, Дикой и Борис.

Дикой. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал? Дармоед! Пропади ты пропадом!

Борис. Праздник; что дома-то делать.

Дикой. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, двз тебе сказал: «Не смей мне навстречу попадаться»; тебе все нйметя! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть! Тьфу, ты, проклятый! Что ты, как столб, стоишь-то? Тебе говорят аль нет?

Борис. Я и слушаю, что ж мне делать еще!

Дикой (посмотрев на Бориса). Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом. (Уходя.) Вот навязался! (Длюет и уходит.)

Явление третье

Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.

Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не пойдем мы никак. Охота вам жить у него да брань переносить.

Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.

Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить? Коли можно, сударь, так скажите нам.

Борис. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?

Кулигин. Ну, как не знать!

Кудряш. Как не знать!

Борис. Батюшку она ведь не влюбила за то, что он женился на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.

Кулигин. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно сударь, иметь.

Борис. Вос итывалд нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую академию¹, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в

¹ Коммерческая академия — высшее учебное заведение, дававшее экономическое образование.

холеру, мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием.

Кулигин. С каким же, сударь?

Борис. Если мы будем к нему почтительны.

Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.

Борис. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.

Кудряш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, нешто кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?

Борис. Ну да. Уж он и теперь поговаривает иногда: «У меня свои дети, за что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен!»

Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело.

Борис. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была — и представить страшно.

Кудряш. Уж само собой. Нешто они обращение понижают!

Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?

Борис. Да ни на каком. «Живи, говорит, у меня, дай, что прикажут, а жалованья, что положу». То есть через год разочтет, как ему будет угодно.

Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованьи, изругает на чем свет стоит. «Ты, говорит, почему знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать? А, может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам». Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.

Кулигин. Что ж делать-то, сударь! Надо стараться угодить как-нибудь.

Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои-то никак угодить не могут; а уж где ж мне?

Кудряш. Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь

основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступить, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердил! Целый день ко всем придирается.

Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: «Батюшки, не рассердите! Голубчики, не рассердите!»

Кудряш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает. Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.

Шапкин. Одно слово: воин!

Кудряш. Еще какой воин-то!

Борис. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого он обругать не смеет; тут уж домашние держись!

Кудряш. Батюшки! Что смеху-то было! Какой-то его на Волге на перевозе гусар обругал. Вот чудеса-то твоирил!

Борис. А каково домашним-то было! После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам.

Кулигин. Что это? Никак народ от вечерни тронулся?

Проходят несколько лиц в глубине сцены.

Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то? *(Кланяются и уходят.)*

Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь, без привычки-то. Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю. им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.

Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь.

Борис. Отчего же?

Кулигин. Жесткие нравы, сударь, в нашем городе, жесткие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел Прокофьич, считывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне

с жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу да и говорит: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами о таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебивает; вы то поймите: не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую благодетельность, на гербовых листах злостные клеветы строчат на ближних. И начнутся у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся, судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому волочению, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами изобразить...

Борис. А вы умеете стихами?

Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.

Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно.

Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать.

Входят Феклуша и другая женщина.

Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлышко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых. (Уходят.)

Борис. Кабановых?

Кулигин. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем. (Молчание.) Только б мне, сударь, перпету мобиль найти!

Борис. Что ж бы вы сделали?

Кулигин. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего.

Борис. А вы надеетесь найти перпетуум мобиле?

Кулигин. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! (Уходит.)

Явление четвертое

Борис (один). Жаль его разочаровывать-то! Какой хороший человек! Мечтает себе — и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет! Ну, к чему пристало! Мне ли уж нежности заводить? Загнан, забит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал. Да в кого? В женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся! (Молчание.) А все-таки нейдет она у меня из головы, хоть ты что хочешь. Вот она! Идет с мужем, ну, и свекровь с ними! Ну, не дурак ли я? Погляди из-за угла, да и ступай домой. (Уходит.)

С противоположной стороны входят: Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

Явление пятое

Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала.

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас слушаться!

Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают.

Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же!

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, какво теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

Кабанов. Я, маменька...

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А, как ты думаешь?

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.

Кабанов (вздыхая. В сторону). Ах, ты, господи! (Матери.) Да смеем ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А, сохрани господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну, и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слыхала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согресишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори, что хочешь, про меня. Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так за глаза станут.

Кабанов. Да отсохни язык...

Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.

Кабанов. В чем же вы, маменька, это видите?

Кабанова. Да во всем, мой друг! Мать, чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.

Кабанов. Да нет, маменька! Что вы, помилуйте!

Катерина. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит.

Кабайова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь.

Варвара (про себя). Нашла место наставления читать.

Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Чго при людях, что без людей, я все одна, ничего я из себя не доказываю.

Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось.

Катерина. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?

Кабанова. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас.

Катерина. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!

Кабанова. Знаю я, знаю, что вам не понутру мои слова, да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте, что хотите, не будет над вами старших. А, может, и меня вспомянете.

Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и ночью бога молим, чтобы вам, маменька, бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху.

Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе: у тебя жена молодая.

Кабанов. Одно другому не мешает-с: жена само по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею.

Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю.

Кабанов. Да для чего же мне менять-с? Я обеих люблю.

Кабанова. Ну да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.

Кабанов. Думайте, как хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем.

Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил? Ну, какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?

Кабанов. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.

Кабанова. Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре, при девке; ей тоже замуж итти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить.

Кабанов. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!

Кабанова. Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уж и не прикрикнуть на нее и не пригрозить?

Кабанов. Да я, маменька...

Кабанова (*горячо*). Хоть любовника заводи. А? И это, может быть, по-твоему, ничего? А? Ну, говори!

Кабанов. Да ей-богу, маменька...

Кабанова (*совершенно хладнокровно*). Дурак! (*Вздыхает.*) Что с дураком и говорить! Только грех один! (*Молчание.*) Я домой иду.

Кабанов. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару пройдем.

Кабанова. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.

Кабанов. Нет, маменька, сохрани меня господи!

Кабанова. То-то же! (*Уходит.*)

Явление шестое

Те же без Кабановой.

Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя до-стается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая!

Катерина. Чем же я-то виновата?

Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю.

Варвара. Где тебе знать!

Кабанов. То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого». А теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя.

Варвара. Так нешто она виновата? Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. (*Отворачивается.*)

Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то?

Варвара. Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умешь. Что стоишь — переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то.

Кабанов. Ну, а что?

Варвара. Известно, что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли?

Кабанов. Угадала, брат.

Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька опять браниться станет.

Варвара. Ты проворней в самом деле, а то знаешь ведь!

Кабанов. Уж как не знать!

Варвара. Нам тоже невелика охота из-за тебя брань-то принимать.

Кабанов. Я мигом. Подождите! (*Уходит.*)

Явление седьмое

Катерина и Варвара.

Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня?

Варвара (глядя в сторону). Разумеется, жалко.

Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? (Крепко целует.)

Варвара. За что ж мне тебя не любить-то?

Катерина. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю досмерти. (Молчание.) Знаешь, мне что в голову пришло?

Варвара. Что?

Катерина. Отчего люди не летают?

Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.

Катерина. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет бежать.)

Варвара. Что ты выдумываешь-то?

Катерина. (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

Варвара. Ты думаешь, я не вижу?

Катерина. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я бывало рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы, — у нас полон дом был странниц да богомолков. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития¹ разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!

Варвара. Да ведь и у нас то же самое.

Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И досмерти я любила в церковь ходить! Точно бывало я в рай войду и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, как все это в одну се-

¹ Житие — церковное описание жизни «святого».

кунду было. Маменька говорила, что все бывало смотрят на меня, что со мной делается. А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облако, и вижу я бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то бывало, девушка, ночью встану, — у нас тоже везде лампадки горели, — да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то, будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.

Варвара. А что же?

Катерина *(помолчав)*. Я умру скоро.

Варвара. Полно, что ты?

Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то! Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно снова жить начинаю, или... уж и не знаю.

Варвара. Что же с тобой такое?

Катерина *(берет ее за руку)*. А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью, и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. *(Хватается за голову рукой.)*

Варвара. Что с тобой? Здорова ли ты?

Катерина. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану — мыслей никак не соберу, молиться — не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себя совестью сделается. Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шопот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы, а точно меня кто-то обнимает так горячо, горячо, и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...

Варвара. Ну?

Катерина. Да что же это я говорю тебе: ты — девушка.

Варвара (*оглядываясь*). Говори! Я хуже тебя.

Катерина. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.

Варвара. Говори, нужды нет!

Катерина. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке, на хорошей, обнявшись...

Варвара. Только не с мужем.

Катерина. А ты почему знаешь?

Варвара. Еще бы не знать.

Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я бедная, плакала, чего уж я над собой ни делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю?

Варвара. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.

Катерина. Что же мне делать! Сил моих нехватает. Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь сделаю над собой!

Варвара. Что ты! Что с тобой! Вот, погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и видеться можно будет.

Катерина. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани господи!

Варвара. Чего ты испугалась?

Катерина. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу, из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете.

Варвара. А вот погоди, там увидим.

Катерина. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу.

Варвара. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!

Входит Барыня с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.

Явление восьмое

Те же и Барыня.

Барыня. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (*Показывает на Волгу.*) Вот, вот, в самый омут.

Барвара улыбається.

Что смеетесь! Не радуйтесь! (Стучит палкой.) Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неутолимой. (Уходя.) Вон, вон куда красота-то ведет! (Уходит.)

Явление девятое

Катерина и Барвара.

Катерина. Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь.

Барвара. На свою бы тебе голову, старая карга!

Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала?

Барвара. Вздор все. Очень нужно слушать, что она городит. Она всем так пророчит. Всю жизнь смолоду-то грешила. Спроси-ка, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся, грозит на них палкой да кричит (передразнивая): «Все гореть в огне будете!»

Катерина (зажмуриваясь). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало.

Барвара. Есть чего бояться! Дура старая...

Катерина. Боюсь, досмерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится. (Молчание.)

Барвара (оглядываясь). Что это братец нейдет, вон, никак гроза заходит.

Катерина (с ужасом). Гроза! Побежим домой! Поскорее!

Барвара. Что ты, с ума, что ли, сошла? Как же ты без братца-то домой покажешься?

Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!

Барвара. Да что ты уж очень боишься: еще далеко гроза-то.

Катерина. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного; а право бы, лучше итти. Пойдем лучше!

Барвара. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься.

Катерина. Да все-таки лучше, все покойнее; дома-то я к образам да богу молиться!

Барвара. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.

Катерина. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть

тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то, — вот что страшно. Что у меня на уме-то! Какой грех-то! Страшно вымолвить! (Гром.) Ах!

Кабанов входит.

Варвара. Вот братец идет. (Кабанову.) Беги скорей! (Гром.)

Катерина. Ах! Скорей, скорей!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Кабановых.

Явление первое

Глаша (собирает платье в узлы) и Феклуша (входит).

Феклуша. Милая девушка, все-то ты за работой! Что делаешь, милая?

Глаша. Хозяина в дорогу собираю.

Феклуша. Аль едет куда свет наш?

Глаша. Едет.

Феклуша. Надолго, милая, едет?

Глаша. Нет, не надолго.

Феклуша. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяйка-то станет выть аль нет?

Глаша. Уж не знаю, как тебе сказать,

Феклуша. Да она у вас воет когда?

Глаша. Не слышать что-то.

Феклуша. Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то. (Молчание.) А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянула б чего.

Глаша. Кто вас разберет, все вы друг на друга клевете. Что вам ладно-то не живется? Уж у нас ли, кажется, вам, странным, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь; греха-то вы не боитесь.

Феклуша. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка: вас, простых людей, каждого один враг¹ смущает, а к нам, к странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их всех побороть. Трудно, милая девушка!

¹ В р а г — подразумевается: дьявол, бес.

Г л а ш а. Отчего ж к вам так много?

Ф е к л у ш а. Это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть точно, я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну так что ж! По немощи моей господь посылает.

Г л а ш а. А ты, Феклуша, далеко ходила?

Ф е к л у ш а. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слышать — много слышала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.

Г л а ш а. Отчего же так, с песьими?

Ф е к л у ш а. За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу: не будет ли чего на бедность. Прощай покудова!

Г л а ш а. Прощай!

Феклуша уходит.

Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть; нет-нет, да и услышишь, что на белом свету делается; а то бы так дураками и померли.

Входят Катерина и Варвара.

Явление второе

Катерина и Варвара.

Варвара (*Глаше*). Тащи узел-то в кибитку, лошади приехали. (*Катерине*.) Молоду тебя замуж-то отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось: вот у тебя сердце-то и не уходилось еще.

Глаша уходит.

Катерина. И никогда не уходится.

Варвара. Отчего ж?

Катерина. Такая уж я зародилась, горячая! Я еще

лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку да и отпихнула ее от берега. На другое утро нашли, верст за десять!

Варвара. Ну, а парни поглядывали на тебя!

Катерина. Как не поглядывать!

Варвара. Что же ты? Неужто не любила никого?

Катерина. Нет, смеялась только.

Варвара. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь.

Катерина. Нет, как не любить! Мне жалко его очень!

Варвара. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься! Давно уж я заметила, что ты любишь одного человека.

Катерина (с испугом). По чем же ты заметила?

Варвара. Как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли! Вот тебе первая примета: как ты увидишь его, вся в лице переменишься.

Катерина погупляет глаза.

Да мало ли...

Катерина (потупившись). Ну, кого же?

Варвара. Да ведь ты сама знаешь, что называть-то?

Катерина. Нет, назови. По имени назови!

Варвара. Бориса Григорьича.

Катерина. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради бога...

Варвара. Ну, вот еще! Ты сама-то, смотри, не проговоришь как-нибудь.

Катерина. Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу.

Варвара. Ну, а ведь без этого нельзя; ты вспомни, где ты живешь! У нас ведь дом на том держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так его видела, говорила с ним.

Катерина (после непродолжительного молчания, потупившись). Ну, так что ж?

Варвара. Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что видеться негде.

Катерина (потудившись еще более). Где же видеться! Да и зачем...

Варвара. Скучный такой...

Катерина. Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто ж тебя заставляет?

Катерина. Не жалеешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Разве я хочу об нем думать? Да что делать, коли из головы нейдет. Об чем ни задумую, а он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я было из дому ушла.

Варвара. Ты какая-то мудреная, бог с тобой! А помоему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было.

Катерина. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.

Варвара. А не стерпится, что ж ты сделаешь?

Катерина. Что я сделаю?

Варвара. Да, что ты сделаешь?

Катерина. Что мне только захочется, то и сделаю.

Варвара. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.

Катерина. Что мне! Я уйду, да и была такова.

Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

Катерина. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь! *(Молчание.)*

Варвара. Знаешь что, Катя! Как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке.

Катерина. Ну зачем, Варя?

Варвара. Да нешто не все равно?

Катерина. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать.

Варвара. Чего бояться-то! Глаша с нами будет.

Катерина. Все как-то робко! Да я, пожалуй.

Варвара. Я б тебя и не звала, да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужно.

Катерина *(смотря на нее)*. Зачем же тебе нужно?

Варвара *(смеется)*. Будем там ворожить с тобой.

Катерина. Шутишь, должно быть?

Варвара. Известно, шучу; а то неужто в самом деле? *(Молчание.)*

Катерина. Где ж это Тихон-то?

Варвара. На что он тебе?

Катерина. Нет, я так. Ведь скоро едет.

Варвара. С маменькой сидят, запершись. Точит она его теперь, как ржа железо.

Катерина. За что же?

Варвара. Ни за что, так, уму-разуму учит. Две недели в дороге будет, заглазное дело. Сама посуди! У нее сердце

все изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и надает приказов, один другого грозней, да потом к образу поведет, побожиться заставит, что все так точно он и сделает, как приказано.

Катерина. И на воле-то он словно связанный.

Варвара. Да, как же, как связанный! Он, как выедет, так запыет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться-то поскорей.

Входят Кабанова и Кабанов.

Явление третье

Те же, Кабанова и Кабанов.

Кабанова. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри ж, помни! На носу себе заруби!

Кабанов. Помню, маменька.

Кабанова. Ну, теперь все готово. Лошади приехали, проститься тебе только, да и с богом.

Кабанов. Да-с, маменька, пора.

Кабанова. Ну!

Кабанов. Чего изволите-с?

Кабанова. Что же ты стоишь, разве порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя.

Катерина потупила глаза в землю.

Кабанов. Да она, чай, сама знает.

Кабанова. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтоб и я слышала, что ты ей приказываешь! А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила.

Кабанов (*становясь против Катерины*). Слушайся маменьки, Катя!

Кабанова. Скажи, чтоб не грубила свекрови.

Кабанов. Не груби!

Кабанова. Чтоб почитала свекровь, как родную мать!

Кабанов. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать!

Кабанова. Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня!

Кабанов. Работай что-нибудь без меня!

Кабанова. Чтоб в окна глаз не тпялила!

Кабанов. Да, маменька, когда ж она...

Кабанова. Ну, ну!

Кабанов. В окна не гляди!

Кабанова. Чтоб на молодых людей не заглядывалась без тебя.

Кабанов. Да что ж это, маменька, ей-богу!

Кабанова (строго). Ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит. (С улыбкой.) Оно все лучше, как приказано-то.

Кабанов (сконфузившись). Не заглядывайся на парней!

Катерина строго взглядывает на него.

Кабанова. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варя! (Уходят.)

Явление четвертое

Кабанов и Катерина (стоит, как будто в оцепенении).

Кабанов. Катя! (Молчание.) Катя, ты на меня не сердисься?

Катерина (после непродолжительного молчания, качает головой). Нет!

Кабанов. Да что ты такая? Ну, прости меня!

Катерина (все в том же состоянии, слегка покачав головой). Бог с тобой! (Закрыв лицо рукою.) Обидела она меня!

Кабанов. Все к сердцу-то принимать, так в чухотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай. Ну, прощай, Катя!

Катерина (кидаясь на шею мужу). Тиша, не уезжай! Ради бога, не уезжай! Голубчик, прошу я тебя!

Кабанов. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же я не поеду!

Катерина. Ну, бери меня с собой, бери!

Кабанов (освобождаясь из ее объятий). Да нельзя.

Катерина. Отчего же, Тиша, нельзя?

Кабанов. Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то; а ты еще навязываешься со мной.

Катерина. Да неужели же ты разлюбил меня?

Кабанов. Да не разлюбил; а с этакой-то неволи от какой хочешь красавицы-жены убежишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина; всю жизнь вот так жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?

Катерина. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?

Кабанов. Слова, как слова! Какие же мне еще слова говорить! Кто тебя знает, чего ты боишься? Ведь ты не одна, ты с маменькой останешься.

Катерина. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моего сердца! Ах, беда моя, беда! *(Плачет.)* Куда мне, бедной, деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!

Кабанов. Да полно ты!

Катерина *(подходит к мужу и прижимается к нему)*. Тиша, голубчик, кабы ты остался либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого. *(Ласкает его.)*

Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки; а то так сама лезешь.

Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!

Кабанов. Ну, да ведь нельзя, так уж нечего делать.

Катерина. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную...

Кабанов. Какую клятву?

Катерина. Вот какую: чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни говорить ни с кем чужим, ни видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя.

Кабанов. Да на что ж это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня!

Кабанов. Как можно за себя ручаться, мало ль что может в голову притти.

Катерина *(падая на колени)*. Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне без покаяния, если я...

Кабанов *(поднимая ее)*. Что ты! Что ты! Какой грех-то! Я и слушать не хочу!

Голос Кабановой: «Пора, Тихон!»
Входят Кабанова, Варвара и Глаша.

Явление пятое

Те же, Кабанова, Варвара и Глаша.

Кабанова. Ну, Тихон, пора. Поезжай с богом! *(Садится.)* Садитесь все!

Все садятся. Молчанье.

Ну, прощай! *(Встает, и все встают.)*

Кабанов *(подходя к матери)*. Прощайте, маменька!

Кабанова *(жестом показывая в землю)*. В ноги, в ноги!

Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью.

Прощайся с женой!

К а б а н о в. Прощай, Катя!

Катерина кидается ему на шею.

К а б а н о в а. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж — глава! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!

Катерина кланяется в ноги.

К а б а н о в. Прощай, сестрица! (Целуется с Варварой.) Прощай, Глаша! (Целуется с Глашей.) Прощайте, маменька! (Кланяется.)

К а б а н о в а. Прощай! Дальние провода — лишние слезы.

Кабанов уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша.

Явление шестое

К а б а н о в а (одна). Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы до-сыта: ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят; а выйдут на волю-то, так и путаются на покор да смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь, да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Входят Катерина и Варвара.

Явление седьмое

Кабанова, Катерина и Варвара.

К а б а н о в а. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь; вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора гост, лежит на крыльце: а тебе. видно. ничего.

Катерина. Не к чему! Да и не умею. Что народ-то смешить!

Кабанова. Хитрость-то невеликая. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала; все-таки пристойнее; а то, видно, на словах только. Ну, я богу молиться пойду, не мешайте мне.

Варвара. Я со двора пойду.

Кабанова. А мне что! Поди! Гуляй, пока твоя пора придет. Еще насидишься!

Уходят Кабанова и Варвара.

Явление восьмое

Катерина (*одна, задумчиво*). Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать, — ангелы ведь это. (*Молчание.*) Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка. (*Задумывается.*) А вот что сделаю: я начну работу какую-нибудь по обещанию; пойду в гостинный двор¹, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня богу помолят. Вот и засядем шить с Варварой и не увидим, как время пройдет; а тут Тиша приедет.

Входит Варвара.

Явление девятое

Катерина и Варвара.

Варвара (*покрывает голову платком перед зеркалом*). Я теперь гулять пойду; а ужо нам Глаша постелет постели в саду, маменька позволила. В саду, за малиной, есть калитка, ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтоб не заметила. На вот, может быть, понадобится. (*Подает ключ.*) Если увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке.

Катерина (*с испугом отталкивая ключ*). На что! На что! Не надо, не надо!

¹ Гостинный двор — ряды лавок, где производилась торговля.

Варвара. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не укусит он тебя.

Катерина. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно ли это! Подумала ль ты? Что ты! Что ты!

Варвара. Ну, я много разговаривать не люблю, да и некогда мне. Мне гулять пора. *(Уходит.)*

Явление десятое

Катерина *(одна, держа ключ в руках)*. Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право сумасшедшая! Вот гибель-то! Вот она! Бросить его, бросить далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он руки-то жжет, точно уголь. *(Подумав.)* Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада: так, очертя голову, и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горьчее покажется. *(Молчание.)* А горька неволя, ох, как горька! Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу, маюсь, просвету себе не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. *(Задумывается.)* Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны. *(Задумчиво смотрит на ключ.)* Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. *(Прислушивается.)* Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. *(Прячет ключ в карман.)* Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала... Ну, уж, знать, там ему и быть! Видно, сама судьба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да, может, такого случая-то во всю жизнь не выйдет. Тогда и плачься на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь, что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.

Явление первое

Кабанова и Феклуша (сидят на скамейке).

Феклуша. Последние времена, матушка, Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто Содом¹, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и снует, один туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.

Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цветами, украшаются; оттого все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета! Вот хоть бы в Москве; бегают народ взад и вперед, неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка, Марфа Игнатьевна, вот он и бегают. Ему представляется то, что он за делом бежит; торопится, бедный, людей не узнает; ему мерещится, что его манит некто, а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то, ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой прекрасный вечер редко кто и за ворота-то выйдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то индо грохот идет; стон стоит. Да чего, матушка, Марфа Игнатьевна, огненного змия² стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.

Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела; конечно, другие от суеты не видят ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так (*растопыривает пальцы*) делает. Ну, и стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.

Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть

¹ Содом — город, уничтоженный, по преданию, богом за грехи его жителей; здесь в смысле: беспутство, беспорядок.

² Огненный змий — здесь: поезд.

Варвара. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не укусит он тебя.

Катерина. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно ли это! Подумала ль ты? Что ты! Что ты!

Варвара. Ну, я много разговаривать не люблю, да и некогда мне. Мне гулять пора. *(Уходит.)*

Явление десятое

Катерина *(одна, держа ключ в руках)*. Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право сумасшедшая! Вот погибель-то! Вот она! Бросить его, бросить далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он руки-то жжет, точно уголь. *(Подумав.)* Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада: так, очертя голову, и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горьчее покажется. *(Молчание.)* А горька неволя, ох, как горька! Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу, маюсь, просвету себе не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. *(Задумывается.)* Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны. *(Задумчиво смотрит на ключ.)* Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. *(Прислушивается.)* Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. *(Прячет ключ в карман.)* Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала... Ну, уж, знать, там ему и быть! Видно, сама судьба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да, может, такого случая-то во всю жизнь не выйдет. Тогда и плачься на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь!.. Будь, что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.

Явление первое

Кабанова и Феклуша (сидят на скамейке).

Феклуша. Последние времена, матушка, Марфа Игнатъевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто Содом¹, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и сует, один туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.

Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цветами, украшаются; оттого все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета! Вот хоть бы в Москве; бегают народ взад и вперед, неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка, Марфа Игнатъевна, вот он и бегают. Ему представляется то, что он за делом бежит; торопится, бедный, людей не узнает; ему мерещится, что его манит некто, а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то, ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой прекрасный вечер редко кто и за ворота-то выйдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то индо грохот идет; стон стоит. Да чего, матушка, Марфа Игнатъевна, огненного змия² стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.

Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела; конечно, другие от суеты не видят ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так (*растопыривает пальцы*) делает. Ну, и стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.

Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть

¹ Содом — город, уничтоженный, по преданию, богом за грехи его жителей; здесь в смысле: беспутство, беспорядок.

² Огненный змий — здесь: поезд.

машиной назови; народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть золотом осыпь, так я не поеду.

Феклуша. Что за крайности, матушка! Сохрани господи от такой напасти! А вот еще, матушка, Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу, на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете кто. И делает он руками, как будто сыплет что, а ничего не сыплется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыплет, а народ днем в суете-то своей невидимо и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и жеццины-то у них все такие худые, тела-то никак не нагуляют, да как будто они что потеряли либо чего ищут: в лице печаль, даже жалко.

Кабанова. Все может быть, моя милая! В наши времена чего удивиться!

Феклуша. Тяжелые времена, матушка, Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходить.

Кабанова. Как так, милая, в умаление?

Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало лето и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто остались, а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят.

Кабанова. И хуже этого, милая, будет.

Феклуша. Нам-то бы только не дожить до этого.

Кабанова. Может, и доживем.

Входит Дикой.

Явление второе

Те же и Дикой.

Кабанова. Что это ты, кум, бродишь так поздно?

Дикой. А кто же мне запретит!

Кабанова. Кто запретит! Кому нужно!

Дикой. Ну, и, значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ль, у кого? Ты еще что тут! Какого еще тут чорта водяного!..

Кабанова. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебе дорогá! Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. (Встает.)

Дикой. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще успеешь дома-то быть: дом-то твой не за горами. Вот он!

Кабанова. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком.

Дикой. Никакого дела нет, а я хмелен, вот что!

Кабанова. Что ж ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это?

Дикой. Ни хвалить, ни бранить. А, значит, я хмелен! Ну, и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить нельзя.

Кабанова. Так ступай, спи!

Дикой. Куда ж это я пойду?

Кабанова. Домой. А то куда же!

Дикой. А коли я не хочу домой-то?

Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить?

Дикой. А потому, что у меня там война идет.

Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть.

Дикой. Ну так что ж, что я воин? Ну, что ж из этого?

Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами. Вот что.

Дикой. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану!

Кабанова. Уж не мало я дивлюсь на тебя: столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут.

Дикой. Вот поди ж ты!

Кабанова. Ну, что ж тебе нужно от меня?

Дикой. А вот что: разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговаривать.

Кабанова. Поди, Феклуша, вели приготовить закусь что-нибудь.

Феклуша уходит.

Пойдем в покои!

Дикой. Нет, я в покои не пойду, в покоях я хуже.

Кабанова. Чем же тебя рассердили-то?

Дикой. Еще с утра с самого.

Кабанова. Должно быть, денег просили.

Дикой. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой целый день пристают.

Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают.

Дикой. Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь

с собой делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приходи ты у меня просить — обругаю. Я отдать — отдам, а обругаю. Потому, только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутреннюю разжигать станет; всю нутреннюю вот разжигает, да и только; ну, и втепору ни за что обругаю человека.

Кабанова. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься.

Дикой. Нет, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то, о великом, я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка: за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время! Согрешил-таки: изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! После прощенья просил, в логи кланялся, право так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при всех ему кланялся.

Кабанова. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо.

Дикой. Как так нарочно?

Кабанова. Я видала, я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не пойдет. Вот что, кум!

Дикой. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко!

Глаша входит.

Глаша. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйста!

Кабанова. Что ж, кум, зайди. Закуси, чем бог послал!

Дикой. Пожалуй.

Кабанова. Милости просим! *(Пропускает вперед Дикого и уходит за ним. Глаша, сложа руки, стоит у ворот.)*

Глаша. Никак Борис Григорьевич идет. Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? Должно, так гуляет.

Входит Борис.

Явление третье

Глаша, Борис, потом Кулигин.

Борис. Не у вас ли дядя?

Глаша. У нас. Тебе нужно, что ль, его?

Борис. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так пусть сидит: кому его нужно. Дома-то рады-радехоньки, что ушел.

Глаша. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я, дура, стою-то с тобой! Прощай. *(Уходит.)*

Борис. Ах ты, господи! Хоть бы одним глазком взглянуть на нее! В дом войти нельзя; здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви либо на дороге, вот и все! Здесь что вышла замуж, что схоронили — все равно. *(Молчание.)* Уж совсем бы мне ее не видать: легче бы было! А то видишь урывками, да еще при людях; во сто глаз на тебя смотрят. Только сердце надрывается. Да и с собой-то не сладишь никак. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь. Ну, попал я в городок! *(Идет ему навстречу, Кулигин.)*

Кулигин. Что, сударь? Гулять изволите?

Борис. Да, так гуляю себе, погода очень хороша нынче.

Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое...

Открылась бездна звезд полна, и

Звездам числа нет — бездне дна.

Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.

Борис. Пойдемте!

Кулигин. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты, и собаки спущены... Вы думаете, они дело делают либо богу молятся. Нет, сударь. И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что

слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По себе можете судить. И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! И все шито да крыто — никто ничего не видит и не знает, видит только один бог! Ты, говорит, смотри в людях меня да на улице, а до семьи моей тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает! Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пикнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну, да бог с ними! А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна воруют часик-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара!

Показываются Кудряш и Варвара. Целуются.

Борис. Цалуются.

Кулигин. Это у нас нужды нет.

Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса.
Он подходит.

Явление четвертое

Борис, Кулигин и Варвара.

Кулигин. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду.

Борис. Хорошо, я сейчас приду.

Кулигин уходит.

Варвара (*закрываясь платком*). Знаешь овраг за Кабановым садом?

Борис. Знаю.

Варвара. Приходи туда уже попозже.

Борис. Зачем?

Варвара. Какой ты глупый! Приходи: там увидишь зачем. Ну, ступай скорей, тебя дожидаются.

Борис уходит.

Не узнал ведь! Пущай теперь подумает. А ужотка я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит. (*Уходит в ворота.*)

Сц. на вторая

Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху забор сада Кабановых и калитка; сверху тропинка.

Явление первое

Кудряш (входит с гитарой). Нет никого. Что ж это она там! Ну, посидим да подождем. (Садится на камень.) Да со скуки песенку споем. (Поет.)

Как донской-то казак, казак вел коня поить,
Добрый молодец, уж он у ворот стоит,
У ворот стоит, сам он думу думает,
Думу думает, как будет жену губить.
Как жена-то, жена мужу возмолилася,
Во скоры-то ноги ему поклонилася:
Уж ты, батюшко, ты ли мил сердечный друг!
Ты не бей, не губи меня со вечера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моим малым детушкам,
Малым детушкам, всем ближним соседушкам.

Входит Борис.

Явление второе

Кудряш и Борис.

Кудряш (перестает петь). Ишь ты! Смирён, смирён, а тоже в разгул пошел.

Борис. Кудряш, это ты?

Кудряш. Я, Борис Григорьич!

Борис. Зачем это ты здесь?

Кудряш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Без надобности б не пошел. Вас куда бог несет?

Борис (оглядывая местность). Вот что, Кудряш: мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно, ты можешь итти и в другое место.

Кудряш. Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насиженное и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов; а на этой дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани господи, греха никакого не вышло. Уговор дороже денег.

Борис. Что с тобой, Ваня?

Кудряш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы иди-

те своей дорогой, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй себе с ней, и никому до тебя дела нет. А чужих не трогай! У нас так не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою... Да я и не знаю, что сделаю! Горло перерву!

Борис. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели.

Кудряш. Кто ж велел?

Борис. Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка.

Кудряш. Кто ж бы это такая?

Борис. Послушай, Кудряш. Можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь?

Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что умерло.

Борис. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев; а дело-то такое...

Кудряш. Полюбили, что ль, кого?

Борис. Да, Кудряш.

Кудряш. Ну, что ж, это ничего. У нас насчет этого слободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят.

Борис. То-то и горе мое.

Кудряш. Так неужто ж замужнюю полюбили?

Борис. Замужнюю, Кудряш.

Кудряш. Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!

Борис. Легко сказать—бросить! Тебе это, может быть, все равно; ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого! Уж я коли полюбил...

Кудряш. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьич!

Борис. Сохрани, господи! Сохрани меня, господи! Нет, Кудряш, как можно. Захочу ли я ее погубить! Мне только бы видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не надо.

Кудряш. Как, сударь, за себя поручиться! А ведь здесь какой народ! Сами знаете. Съедят, в гроб вколотят.

Борис. Ах, не говори этого, Кудряш, пожалуйста, не пугай ты меня!

Кудряш. А она-то вас любит?

Борис. Не знаю.

Кудряш. Да вы видались когда аль нет?

Борис. Я один раз только и был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как

она молится, кабы ты посмотрел! Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто светится.

Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ль?

Борис. Она, Кудряш.

Кудряш. Да! Так вот оно что! Ну, честь имеем проводить!

Борис. С чем?

Кудряш. Да как же! Значит, у вас дело на лад идет, коли сюда приходиться велели.

Борис. Так неужто она велела?

Кудряш. А то кто же?

Борис. Нет, ты шутишь! Этого быть не может. (Хватается за голову.)

Кудряш. Что с вами?

Борис. Я с ума сойду от радости.

Кудряш. Вот! Есть от чего с ума сходить! Только вы смотрите — себе хлопот не наделайте, да и ее-то в беду не введите! Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта.

Варвара выходит из калитки.

Явление третье

Те же и Варвара, потом Катерина.

Варвара (у калитки поет).

За рекою, за быстрою, мой Ваня гуляет,]

Там мой Ванюшка гуляет...

Кудряш (продолжает).

Товар закупает.

(Свищет).

Варвара (сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису). Ты, парень, подожди. Дождешься чего-нибудь. (Кудряшу.) Пойдем на Волгу.

Кудряш. Ты что ж так долго? Ждать вас еще! Знаешь, что не люблю!

Варвара обнимает его одной рукой и уходит.

Борис. Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни, свиданья! Ходят обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело! Вот и я жду чего-то! А чего жду — и не знаю, и вообразить не могу; только бьется сердце да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать ей, дух захватывает, подгибаются колени! Вот когда у меня сердце глупое раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет.

Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, погупив глаза в землю. Молчанье.

Это вы, Катерина Петровна? (Молчанье.) Уж как мне благодарить вас, я и не знаю. (Молчанье.) Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! (Хочет взять ее за руку.)

Катерина (с испугом, но не поднимая глаз). Не трогай, не трогай меня! Ах, ах!

Борис. Не сердитесь!

Катерина. Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем.

Борис. Не гоните меня!

Катерина. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски!

Борис. Вы сами велели мне притти...

Катерина. Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски!

Борис. Лучше б мне не видать вас!

Катерина (с волнением). Ведь что я себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли?

Борис. Успокойтесь! (Берет ее за руку.) Сядьте!

Катерина. Зачем ты моей погибели хочешь?

Борис. Как же я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас больше всего на свете, больше самого себя!

Катерина. Нет, нет! Ты меня загубил!

Борис. Разве я злодей какой?

Катерина (качая головой). Загубил, загубил, загубил!

Борис. Сохрани меня бог! Пусть лучше я сам погибну!

Катерина. Ну, как ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе.

Борис. Ваша воля была на то.

Катерина. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. (Поднимает глаза и смотрит на Бориса. Небольшое молчанье.) Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! (Кидается к нему на шею.)

Борис (обнимает Катерину). Жизнь моя!

Катерина. Знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось!

Борис. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо?

Катерина. Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не жить.



Борис. Не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня...

Катерина. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я!..

Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею!

Катерина. Э! Что меня жалеть, никто не виноват, — сама на то пошла. Не жалею, губи меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! (Обнимает Бориса) Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься.

Борис. Ну, что об этом думать, благо нам теперь-то хорошо!

Катерина. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще успею на досуге.

Борис. А я было испугался; я думал, ты меня прогонишь.

Катерина (улыбаясь). Прогнать! Где уж! С нашим ли сердцем! Кабы ты не пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла.

Борис. Я и не знал, что ты меня любишь.

Катерина. Давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой; иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы.

Борис. Надолго ли муж-то уехал?

Катерина. На две недели.

Борис. О, так мы погуляем! Время-то довольно.

Катерина. Погуляем. А там... (задумывается) как запрут на замок, вот смерть! А не запрут, так уж найду случай повидаться с тобой!

Входят Кудряш и Варвара.

Явление четвертое

Те же, Кудряш и Варвара.

Варвара. Ну, что, сладили?

Катерина прячет лицо у Бориса на груди.

Борис. Сладили.

Варвара. Пошли бы, погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет.

Борис и Катерина уходят. Кудряш и Варвара садятся на камень.

Кудряш. А это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для вашего брата очень способно.

Варвара. Все я.

Кудряш. Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?

Варвара. Э! Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.

Кудряш. А ну, на грех?

Варвара. У нее первый сон крепок; вот к утру так просыпается.

Кудряш. Да ведь как знать! Вдруг ее нелегкая поднимет.

Варвара. Ну так что ж! У нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из сада; постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слышали. Да и Глаша стережет; чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя! Как же можно! Того гляди, в беду попадешь.

Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет.

Варвара (зевая). Как бы это узнать, который час?

Кудряш. Первый.

Варвара. Почему ты знаешь?

Кудряш. Сторож в доску бил.

Варвара (зевая). Пора. Покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так побольше погуляем.

Кудряш (свищет и громко задевает).

Все домой, все домой!

А я домой не хочу.

Борис (за сценой). Слышу!

Варвара (встает). Ну, прощай! (Зевает, потом целует холодно, как давно знакомого.) Завтра, смотрите, приходите пораньше! (Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина.) Будет вам прощаться-то, не навек расстаетесь, завтра увидите. (Зевает и потягивается.)

Вбегает Катерина, а за ней Борис.

Явление пятое

Кудряш, Варвара, Борис и Катерина.

Катерина (Варваре). Ну, пойдем, пойдем! (Всходят по тропинке. Катерина оборачивается.) Прощай.

Борис. До завтра!

Катерина. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи! (Подходит к калитке.)

Борис. Непременно.

Кудряш (поет под гитару).

Гуляй, млада, до поры,
До вечерней до зари!
Ай лели, до поры,
До вечерней до зари.

Варвара (у калитки).

А я, млада, до поры,
До утренней до зари,
Ай лели, до поры,
До утренней до зари!

Уходят.

Кудряш.

Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась, и т. д.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки; кой-где трава и кусты, за арками берег и вид на Волгу.

Явление первое

Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками.

1 - й. Дождь накрапает, как бы гроза не собралась?

2 - й. Гляди, сберется.

1 - й. Еще хорошо, что есть где схорониться.

Входят все под своды.

Женщина. А что народу-то гуляет на бульваре! День праздничный, все повышли. Купчихи такие разряженные.

1 - й. Попрячутся куда-нибудь.

2 - й. Гляди, что теперь народу сюда набьется!

1 - й (осматривая стены). А ведь тут, братец ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было. И теперь еще места-ми означает.

2 - й. Ну да, как же! Само собой, что расписано было. Теперь, ишь ты, все впусте оставлено, развалилось, заросло. После пожара так и не поправляли. Да ты пожару-то этого не помнишь, этому лет сорок будет.

1 - й. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано было? Довольно затруднительно это понимать.

2 - й. Это геенна¹ огненная.

¹ Геенна — церковное обозначение ада.

1 - й. Так, братец ты мой!

2 - й. И едут туда всякого звания люди.

1 - й. Так, так, понял теперь.

2 - й. И всякого чину.

1 - й. И арапы?

2 - й. И арапы.

1 - й. А это, братец ты мой, что такое?

2 - й. А это литовское разорение. Битва! — видишь? Как наши с Литвой бились.

1 - й. Что ж это такое Литва?

2 - й. Так она Литва и есть.

1 - й. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.

2 - й. Не умею тебе сказать. С неба, так с неба.

Женщина. Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны.

1 - й. А что, братец ты мой! Ведь это так точно!

Входят Дикой и за ним Кулигина без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение.

Явление второе

Те же, Дикой и Кулигина.

Дикой. Ишь ты, замочило всего. (Кулигину.) Отстань ты от меня! Отстань! (С сердцем.) Глупый человек!

Кулигина. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.

Дикой. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?

Кулигина. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный (показывает жестами размер каждой вещи), дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую (показывает жестом), простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение, — для глаз оно приятней.

Дикой. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении я тебя слушать, дурака, или

нет. Что я тебе — ровный, что ли! Ишь ты — какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.

Кулигин. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.

Дикой А, может, ты украсть хочешь; кто тебя знает.

Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают, про меня никто дурно не скажет.

Дикой Ну, и пушай знают, а я тебя знать не хочу.

Кулигин. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?

Дикой Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.

Кулигин Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!»

Дикой Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты?

Кулигин. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю; а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов.

Дикой (гордо). Все суета!

Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были?

Дикой. Какие-такие там у тебя громовые отводы?

Кулигин. Стальные.

Дикой (с гневом). Ну, еще что?

Кулигин. Шесты стальные.

Дикой (сердясь все более и более). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что?

Кулигин. Ничего больше.

Дикой. Да гроза-то что такое по-твоему, а? Ну, говори.

Кулигин. Электричество.

Дикой (топнув ногой). Какое еще там электричество! Ну, как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А, говори! Татарин?

Кулигин. Савел Прокофьевич, ваше степенство, Державин сказал:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.

Дикой. А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные, прислушайте-ко, что он говорит!

Кулигин. Нечего делаться, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. (Махнув рукой, уходит.)

Дикой. Что ж ты украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакий фальшивый мужичонко! С этим народом какому надо быть человеку? Я уж не знаю. (Обращаясь к народу.) Да вы, проклятые, хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно, рассердил-таки. Чтоб ему провалиться! (Сердито). Перестал, что ль, дождик-то?

1-й. Кажется, перестал.

Дикой. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри. А то: кажется.

1-й (выйдя из-под сводов). Перестал!

Дикой уходит и все за ним. Сцена несколько времени пуста. Под своды быстро входит Варвара и, притаившись, высматривает.

Явление третье

Варвара и потом Борис.

Варвара. Кажется, он!

Борис проходит в глубине сцены.

Сс-сс!

Борис оглядывается.

Поди сюда. (Манит рукой, Борис входит.) Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость!

Борис. А что?

Варвара. Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, а он приехал.

Борис. Нет, я не знал.

Варвара. Она просто сама не своя сделалась.

Борис. Видно, только я и пожил десяток деньков, пока его не было. Уж теперь и не увидишь ее!

Варвара. Ах, ты какой! Да ты слушай! Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза, как у помешанной! Давеча утром плакать принялась, так и рыдает. Батюшки мои! что мне с ней делать?

Борис. Да, может быть, пройдет это у нее!

Варвара. Ну, уж едва ли. На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать это стала, ходит да все на нее косится, так змеей и смотрит; а она от этого еще хуже. Просто мука глядеть-то на нее! Да и боюсь я.

Борис. Чего же ты боишься?

Варвара. Ты ее не знаешь! Она ведь чудная какая-то у нас. От нее все станется! Таких дел наделает, что...

Борис. Ах, боже мой! Что же делать-то? Ты бы с ней поговорила хорошенько. Неужели уж нельзя ее уговорить?

Варвара. Пробовала. И не слушает ничего. Лучше и не подходи.

Борис. Ну, как же ты думаешь, что она может сделать?

Варвара. А вот что: бухнет мужу в ноги, да и расскажет все. Вот чего я боюсь.

Борис (с испугом). Может ли это быть?

Варвара. От нее все может быть.

Борис. Где она теперь?

Варвара. Сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пойди и ты, коли хочешь. Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется.

Вдали удар грома.

Никак гроза? (Выглядывает.) Да и дождик. А вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану, чтоб не подумали чего.

Входят несколько лиц разного звания и пола.

Явление четвертое

Разные лица и поном Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулигина.

1-й. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться.

мною целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой попрекают.

Борис. А муж-то?

Катерина. То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне, постыл, ласка-то его мне хуже побоев.

Борис. Тяжело тебе, Катя?

Катерина. Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!

Борис. Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой! Лучше б бежать мне тогда!

Катерина. На беду я увидела тебя. Радости видела мало, горя-то, горя-то что! Да еще впереди-то сколько! Ну, да что думать о том, что будет! Вот я теперь тебя видела, этого они у меня не отнимут; а больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увидеть тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось; точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня...

Борис. Что ты, что ты!

Катерина. Да нет, все не то я говорю; не то я хотела сказать! Скучно мне было по тебе, вот что, ну, вот я тебя увидела...

Борис. Не застали б нас здесь!

Катерина. Постой, постой! Что-то я тебе хотела сказать... Вот забыла! Что-то нужно было сказать! В голове-то все путается, не вспомню ничего.

Борис. Время мне, Катя!

Катерина. погоди, погоди!

Борис. Ну, что же ты сказать-то хотела?

Катерина. Сейчас скажу. (Подумав.) Да! Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому подай да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу.

Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! (Обнимает ее и хочет уйти.) Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!

Катерина. Постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. (Смотрит ему в глаза.) Ну, будет с меня! Теперь бог с тобой, поезжай. Ступай, скорее ступай!

Борис (отходит несколько шагов и останавливается). Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавши о тебе.

Катерина. Ничего, ничего! Поезжай с богом!

Борис хочет подойти к ней.

Не надо, не надо, довольно!

Борис (рыдая). Ну, бог с тобой! Только одного и надо у бога просить, чтоб она умерла поскорее, чтоб ей не мучиться долго! Прощай! (Кланяется.)

Катерина. Прощай!

Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись.

Явление четвертое

Катерина (одна). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно. Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле лучше... Под деревцом могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождиком ее мочит... весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... всякие (задумывается), всякие... Так тихо, так хорошо! Мне как будто легче! А о жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду... Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться... Руки крест-накрест складывают... в гробу! Да, так... я вспомнила. А поймают меня да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей! (Подходит к берегу. Громко.) Друг мой! Радость моя! Прощай! (Уходит.)

Звонят Кабанов, Кабанова, Кулигин и рабстник с фонарем.

Явление пятое

Кабанов, Кабанова и Кулигин.

Кулигин. Говорят, здесь видели.

Кабанов. Да это верно?

Кулигин. Прямо на нее говорят.

Кабанов. Ну, слава богу, хоть живую видели-то.

Кабанова. А ты уж испугался, расплакался! Есть о чем. Не беспокойся: еще долго нам с ней маяться будет.

Кабанов. Кто ж это знал, что она сюда пойдет! Место такое людное. Кому в голову придет здесь прятаться.

Кабанова. Видишь, что она делает! Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!

С разных сторон собирается народ с фонарями.

Один из народа. Что, нашли?

Кабанова. То-то что нет. Точно провалилась куда. Несколько голосов. Эка притча! Вот оказия-то! И куда б ей деться!

Один из народа. Да пайдется!

Другой. Как не найтись!

Третий. Гляди, сама придет.

Голоса за сценой: «Эй, лодку!»

Кулигин (с берега). Кто кричит? Что там?

Голос: «Женщина в воду бросилась!»

Кулигин и за ним несколько человек убегают.

Явление шестое

Те же без Кулигина.

Кабанов. Батюшки, она ведь это! (Хочет бежать. Кабанова удерживает его за руку.) Маменька, пустите, смерть моя! Я ее вытащу, а то так и сам... Что мне без нее!

Кабанова. Не пушу, и не думай! Из-за нее да себя губить, стоит ли она того! Мало она нам сраму-то надедала, еще что затеяла!

Кабанов. Пустите!

Кабанова. Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь!

Кабанов (падая на колени). Хоть взглянуть-то мне на нее!

Кабанова. Вытащат — взглянешь.

Кабанов (встает. К народу). Что, голубчики, не видать ли чего?

1-й. Темно внизу-то, не видать ничего.

Шум за сценой.

2-й. Словно кричат что-то, да ничего не разберешь.

1-й. Да это Кулигина голос.

2-й. Вон с фонарем по берегу ходят.



1 - й. Сюда идут. Вон и ее несут.

Несколько народу возвращается.

Один из возвратившихся. Молодец Кулигин! Тут близехонько, в смуточке, у берега с огнем-то оно в воду-то далеко видно; он платье и увидел и вытащил ее.

Кабанов. Жива?

Другой. Где уж жива! Высоко бросилась-то: тут обрыв, да, должно быть, на якорь попала, ушиблась, бедная! А точно, ребята, как живая! Только на виске маленькая ранка, и одна только, как есть одна, капелька крови. Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину.

Явление седьмое

Те же и Кулигин.

Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! *(Кладет на землю и убегает.)*

Кабанов *(бросается к Катерине)*. Катя! Катя!

Кабанова. Полно! Об ней плакать-то грех!

Кабанов. Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы...

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь!

Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!

Кабанова (сыну). Ну, я с тобой дома поговорю.
(Низко кланяется народу.) Спасибо вам, люди добрые, за
вашу услугу!

Все кланяются.

Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался
жить на свете да мучиться! (Падает на труп жены.)



В. А. Добролюбов

ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ¹

(Гроза. Драма в пяти действиях А. Н. Островского. Спб. 1860 г.)

Незадолго до появления на сцене «Грозы» мы разбирали очень подробно все произведения Островского². Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда внимание на явления русской жизни, воспроизводимые в его пьесах, старались уловить их общий характер и попытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности, каким он представляется нам в произведениях нашего драматурга. Если читатели не забыли, мы пришли тогда к тому результату, что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим умением изображать резко и живо самые существенные ее стороны. «Гроза» вскоре послужила новым доказательством справедливости нашего заключения. Мы хотели тогда же говорить о ней, но почувствовали, что нам необходимо пришлось бы при этом повторить многие из прежних наших соображений, и потому решились молчать о «Грозе», предоставив читателям, которые поинтересовались нашим мнением, проверить на ней те общие замечания, какие мы высказали об Островском еще за несколько месяцев до появления этой пьесы. Наше решение утвердилось в нас еще более, когда мы увидели, что по поводу «Грозы» появляется во всех журналах и газетах целый ряд больших и маленьких рецензий, трактовавших дело с самых разнообразных точек зрения. Мы думали, что в этой массе статей скажется наконец об Островском и о значении его пьес что-нибудь побольше того,

¹ Печатается с сокращениями.

² См. статья «Темное царство» в «Современнике» 1859 г. №№ VII и IX. (Примеч. автора.)

нежели что мы видели в критиках, о которых упоминали в начале первой статьи нашей о «Темном царстве». В этой надежде и в сознании того, что наше собственное мнение о смысле и характере произведений Островского высказано уже довольно определенно, мы и сочли за лучшее оставить разбор «Грозы».

Но теперь, снова встречая пьесу Островского в отдельном издании и припоминая все, что было о ней писано, мы находим, что сказать о ней несколько слов с нашей стороны будет совсем не лишнее.

..Уже и в прежних пьесах Островского мы замечали, что это не комедии интриг и не комедия характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни», если бы это не было слишком обширно и потому не совсем определенно. Мы хотим сказать, что у него на первом плане является всегда общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц обстановка жизни. Он не карает ни злодея, ни жертву; оба они жалки вам, нередко оба смешны, но не на них непосредственно обращается чувство, возбуждаемое в вас пьесой. Вы видите, что их положение господствует над ними, и вы видите их только в том, что они не выказывают достаточно энергии для того, чтобы выйти из этого положения. Сами самодуры, против которых естественно должно возмущаться ваше чувство, по внимательной рассмотрении оказываются более достойны сожаления, нежели вашей злости: они и добродетельны и даже умины по-своему, в пределах, предписанных им рутинною и поддерживаемых их положением; но положение это таково, что в нем невозможно полное, здоровое человеческое развитие. Мы видели это особенно в анализе характера Русакова¹.

Таким образом, борьба, требуемая теориею от драмы, совершается в пьесах Островского не в монологах действующих лиц, а в фактах, господствующих над ними. Часто сами персонажи комедии не имеют ясного или вовсе никакого сознания о смысле своего положения и своей борьбы; но зато борьба весьма отчетливо и сознательно совершается в душе зрителя, который невольно возмущается против положения, порождающего такие факты. И вот почему мы никак не решаемся считать ненужными и лишними те лица пьес Островского, которые не участвуют прямо в интриге. С нашей точки зрения эти лица столько же необходимы для пьесы, как и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие, рисуют положение,

¹ Один из героев комедии Островского «Не в свои сани не садись».

которым определяется смысл деятельности главных персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни растения, надо изучать его на той почве, на которой оно растет; оторвавши от почвы, вы будете иметь форму растения, но не узнаете вполне его жизни. Точно так не узнаете вы жизни общества, если вы будете рассматривать ее только в непосредственных отношениях нескольких лиц, пришедших почему-нибудь в столкновение друг с другом: тут будет только деловая, официальная сторона жизни, между тем как нам нужна будничная ее обстановка. Посторонние, недействительные участники жизненной драмы, повидимому занятые только своим делом каждый, имеют часто одним своим существованием такое влияние на ход дела, что его ничем и отразить нельзя. Сколько горячих идей, сколько обширных планов, сколько восторженных порывов рушится при одном взгляде на равнодушную, прозаическую толпу, с презрительным индифферентизмом проходящую мимо нас! Сколько чистых и добрых чувств замирает в нас из боязни, чтобы не быть осмеянным и поруганным этой толпой! А с другой стороны и сколько преступлений, сколько порывов произвола и насилия останавливается пред решением этой толпы, всегда как будто равнодушной и податливой, но в сущности весьма неуступчивой в том, что раз ею признано. Поэтому чрезвычайно важно для нас знать, каковы понятия этой толпы о добре и зле, что у ней считается за истину и что за ложь. Этим определяется наш взгляд на положение, в каком находятся главные лица пьесы, а следовательно, и степень нашего участия к ним.

В «Грозе» особенно видна необходимость так называемых «ненужных» лиц: без них мы не можем понять лица героини и легко можем исказить смысл всей пьесы, что и случилось с большею частью критиков. Может быть, нам скажут, что все-таки автор виноват, если его так легко не понять; но мы заметим на это, что автор пишет для публики, а публика если и не сразу овладевает вполне сущностью его пьес, то и не искажает их смысла. Что же касается до того, что некоторые подробности могли быть отделаны лучше, мы за это не стоим. Без сомнения, могильщики в «Гамлете» более кстати и ближе связаны с ходом действия, нежели, например, полусумасшедшая барыня в «Грозе»; но мы ведь не то толкуем, что наш автор — Шекспир, а только то, что его посторонние лица имеют резон своего появления и оказываются даже необходимыми для полноты пьесы, рассматриваемой как она есть, а не в смысле абсолютного совершенства.

«Гроза», как вы знаете, представляет нам идиллию «темного царства», которое мало-помалу освещает нам Островский своим талантом. Люди, которых вы здесь видите, живут в благословенных местах: город стоит на берегу Волги, весь в зелени; с крутых берегов видны далекие пространства, покрытые селеньями и нивами; летний благодатный день так и манит на берег, на воздух, под открытое небо, под этот ветерок, освежительно веющий с Волги... И жители, точно, гуляют иногда по бульвару над рекой, хотя уж и пригляделись к красотам волжских видов; вечером сидят на завалинках у ворот и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводят время у себя дома, занимаются хозяйством, кушают, спят — спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задают себе. Но что же им делать, как не спать, когда они сыты? Их жизнь течет так ровно и мирно, никакие интересы мира их не тревожат, потому что не доходят до них; царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли может изменяться, как ему угодно, мир может начать новую жизнь на новых началах, — обитатели города Калинова будут себе существовать попрежнему в полнейшем неведении об остальном мире. Изредка забежит к ним неопределенный слух, что Наполеон с двадцатью язык опять подымается или что антихрист народился; но и это они принимают более как курьезную штуку, вроде вести о том, что есть страны, где все люди с песьими головами; покачают головой, выразят удивление к чудесам природы и пойдут себе закусить... Смолоду еще показывают некоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда: сведения заходят к ним, точно в древней Руси времен Даннилы Паломника, только от странниц, да и тех уж нынче немного настоящих-то; приходится довольствоваться такими, которые «сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слышать много слышали», как Феклуша в «Грозе». От них только и узнают жители Калинова о том, что на свете делается; иначе они думали бы, что весь свет таков же, как и их Калинов, и что иначе жить, чем они, совершенно невозможно. Но и сведения, сообщаемые Феклушами, таковы, что неспособны внушить большого желания променять свою жизнь на иную. Феклуша принадлежала к партии патристической и в высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивых и наивных калиновцев: ее и почитают, и угощают, и снабжают всем нужным; она пресерьезно может уверять, что самые грешки ее происходят оттого, что она выше прочих смертных: «простых людей, говорит, каждого

один враг смущает, а к нам, страшным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено, вот и надо их всех побороть». И ей верят. Ясно, что простой инстинкт самосохранения должен заставить ее не сказать хорошего слова о том, что в других землях делается. И в самом деле, прислушайтесь к разговорам купечества, мещанства, мелкого чиновничества в уездной глуши — сколько удивительных сведений о неверных и поганных царствах, сколько рассказов о тех временах, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили и т. п., — и как мало сведений о европейской жизни, о лучшем устройстве быта! Даже в так называемом образованном обществе, в обьевропейившихся людях на множество энтузиастов, восхищавшихся новыми парижскими улицами и мабилем, разве вы не найдете почти такое же множество солидных ценителей, которые запугивают своих слушателей тем, что нигде, кроме Австрии, во всей Европе порядка нет и никакой управы найти нельзя!. Всё это и ведет к тому, что Феклуша высказывает так положительно: «Бла-алепие, милая, бла-алепие, красота дивная! Да что уж и говорить, — в обетованной земле живете!» Оно несомненно так и выходит, как сообразить, что в других-то землях делается. Послушайте-ка Феклушу.

— Говорят, такие страны есть, милая, девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, над всеми людьми, и что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пищут: «Суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.

«Отчего ж так с песьими?» спрашивает Глаша. — «За неверность», коротко отвечает Феклуша, считая всякие дальнейшие объяснения излишними. Но Глаша и тому рада; в томительном однообразии ее жизни и мысли ей приятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. В ее душе смутно пробуждается уже мысль, «что вот, однакоже, живут люди и не так, как мы; оно, конечно, у нас лучше, а впрочем, кто их знает! Ведь и у нас нехорошо; а про те земли мы еще и не знаем хорошенько; кое-что только услышишь от добрых людей»... И желание знать побольше да

поосновательнее закрадывается в душу. Это для нас ясно из слов Глаши по уходе странницы: «Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть; нет-нет, да и услышишь, что на белом свету делается; а то бы так дураками и померли». Как видите, неправедность и неверность чужих земель не возбуждают в Глаше ужаса и негодования; ее занимают только новые сведения, которые представляются ей чем-то загадочным, «чудесами», как она выражается. Вы видите, что она не довольствуется объяснениями Феклуши, которые возбуждают в ней только сожаление о своем невежестве. Она, очевидно, на полдороге к скептицизму. Но где же ей сохранить свое недоверие, когда оно беспрестанно подрывается рассказами, подобными Феклушиным? Как ей дойти до правильных понятий, даже просто до разумных вопросов, когда ее любознательность заперта в таком круге, который очерчен около нее в городе Калинове? Да еще мало того, как бы она осмелилась не верить да допытываться, когда старшие и лучшие люди так положительно успокаиваются в убеждении, что принятые ими понятия и образ жизни — наилучшие в мире и что все новое происходит от нечистой силы? Страшна и тяжела для каждого новичка попытка идти наперекор требованиям и убеждениям этой темной массы, ужасной в своей наивности и искренности. Ведь она проклянет нас, будет избегать, как зачумленных, — не по злобе, не по расчетам, а по глубокому убеждению в том, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если только полоумными сочтет и будет подсмеиваться... Она ищет знания, любит рассуждать, но только в известных пределах, предписанных ей основными понятиями, в которых путается рассудок. Вы можете сообщить калиновским жителям некоторые географические знания, но не касайтесь того, что земля на трех китах стоит и что в Иерусалиме есть пуп земли — этого они вам не уступят, хотя о пупе земли имеют такое же ясное понятие, как о Литве в «Грозе». «Это, братец ты мой, что такое?» спрашивает один мирный гражданин у другого, показывая на картину. — «А это литовское разорение, — отвечает тот. — Битва! — видишь? Как наши с Литвой бились». — «Что ж это такое Литва?» — «Так она Литва и есть», отвечает объясняющий. — «А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала», продолжает первый; но собеседнику его мало до того нужды: «С неба, так с неба», отвечает он. Тут женщина вмешивается в разговор: «Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти курганы

насыпаны». — «А что, братец ты мой! Ведь это так точно!» восклицает вопрошатель, вполне удовлетворенный. И после этого спросите его, что он думает с Литве! Подобный исход имеют все вопросы, задаваемые здесь людям естественной любознательностью. И это вовсе не сттого, чтобы люди эти были глупее и бестолковее многих других, которых мы встречаем в академиях и ученых обществах. Нет, все дело в том, что они своим положением, своею жизнью под гнетом произвола все приучены уже видеть безотчетность и бессмысленность и потому находят неловким и даже дерзким настойчиво доискиваться разумных оснований в чем бы то ни было. Задать вопрос, — на это их еще станет; но если ответ будет таков, что «пушка сама по себе, а мортира сама по себе», то они уже не смеют пытаться дальше и смиренно довольствуются данным объяснением. Секрет подобного равнодушия к логике заключается прежде всего в отсутствии всякой логичности в жизненных отношениях. Ключ этой тайны дает нам, например, следующая реплика Дикого в «Грозе». Кулигин, в ответ на его грубости, говорит: «За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?» Дикой отвечает вот что:

— Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.

Какое теоретическое рассуждение может устоять там, где жизнь основана на таких началах! Отсутствие всякого закона, всякой логики — вот закон и логика этой жизни. Это не анархия, но нечто еще гораздо худшее (хотя воображение образованного европейца и не умеет представить себе ничего хуже анархии). В анархии так уж и нет никакого начала: всяк молодец на свой образец, никто никому не указ, всякий на приказание другого может отвечать, что я, мол, тебя знать не хочу, и таким образом все озорничают и ни в чем согласиться не могут. Положение общества, подверженного такой анархии (если только она возможна), действительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество разделилось на две части: одна оставила за собой право озорничать и не знает никакого закона, а другая принуждена признавать законом всякую претензию

первой и безропотно сносить все ее капризы, все безобразия. Не правда ли, что это было бы еще ужаснее? Анархия осталась бы та же, потому что в обществе все-таки разумных начал не было бы, озорничества продолжались бы по-прежнему, но половина людей принуждена была бы страдать от них и постоянно питать их собою, своим смирением и угодливостью. Ясно, что при таких условиях озорничество и беззаконие приняли бы такие размеры, каких никогда не могли бы они иметь при всеобщей анархии. В самом деле, что ни говорите, а человек один, предоставленный самому себе, не много надурит в обществе и очень скоро почувствует необходимость согласиться и сговориться с другими в видах общей пользы. Но никогда этой необходимости не почувствует человек, если он во множестве подобных себе находит обширное поле для упражнения своих капризов и если в их зависимом, униженном положении видит постоянное подкрепление своего самодурства. Таким образом, имея общим с анархией отсутствие всякого закона и права, обязательного для всех, самодурство, в сущности, несравненно ужаснее анархии, потому что дает озорничеству больше средств и простора и заставляет страдать большее число людей, — и опаснее ее еще в том отношении, что может держаться гораздо дольше. Анархия (повторим, если только она возможна вообще) может служить только переходным моментом, который сам себя с каждым шагом должен образумливать и приводить к чему-нибудь более здравому; самодурство, напротив, стремится узаконить себя и установить как незыблемую систему. Оттого оно вместе с таким широким понятием о своей собственной свободе старается, однакоже, принять все возможные меры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собой, чтобы оградить себя от всяких дерзких попыток. Для достижения этой цели оно признает как будто некоторые высшие требования и хотя само против них тоже проступается, но пред другими стоит за них твердо. Несколько минут спустя после реплики, в которой Дикой так решительно отвергал, в пользу собственного каприза, все нравственные и логические основания для суждения о человеке, — этот же самый Дикой напускается на Кулигина, когда тот для объяснения грозы говорил слово электричество. «Ну, как же ты не разбойник! — кричит он: — Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А, говори! Татарин?» И уж тут Кулигин не смеет ответить ему: «Хочу так думать, и думаю, и

никто мне не указ». Куда тебе, — он и объяснений-то своих представить не может: их принимают с ругательствами, да и говорить-то не дают. Поневоле тут резонировать пере-станешь, когда на всякий резон кулак отвечает, и всегда в конце концов кулак остается правым...

Но — чудное дело! — в своем непререкаемом, безответственном темном владычестве, давая полную свободу своим прихотям, ставя ни во что всякие законы и логику, самодуры русской жизни начинают, однакоже, ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная перед чем и почему. Всё, кажется, попрежнему, всё хорошо: Дикой ругает, кого хочет; когда ему говорят: «Как это на тебя никто в целом доме угодить не может!» — он самодовольно отвечает: «Вот поди ж ты!» Кабанова держит попрежнему в страхе своих детей, заставляет невестку соблюдать все этикеты старины, ест ее, как ржа железо, считает себя вполне непогрешимой и ублажается разными Феклушами. А все как-то неспокойно, нехорошо им. Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и хотя далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже дает себя предчувствовать и посылает нехорошие видения темному произволу самодуров. Они ожесточенно ищут своего врага, готовы напуститься на самого невинного, на какого-нибудь Кулигина, но нет ни врага, ни виновного, которого могли бы они уничтожить: закон времени, закон природы и истории берет свое, и тяжело дышат старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше их, которой они одолеть не могут, к которой даже и подступить не знают как. Они не хотят уступать (да никто покамест и не требует от них уступок), но съеживаются, сокращаются; прежде они хотели утвердить свою систему жизни навеки нерушимую, и теперь тоже стараются проповедывать, но уже надежда изменяет им, и они, в сущности, хлопочут только о том, как бы на их век стало... Кабанова рассуждает о том, что «последние времена приходят», и когда Феклуша рассказывает ей о разных ужасах настоящего времени — о железных дорогах и т. п., — она пророчески замечает: «И хуже, милая, будет». — «Нам бы только не дожить до этого», со вздохом отвечает Феклуша. — «Может, и доживем», фаталистически говорит опять Кабанова, обнаруживая свои сомнения и неуверенность. А отчего она тревожится? Народ по железным дорогам ездит, — да ей-то что от этого? А вот видите ли: она, «хоть ты ее всю золотом осыпь», не поедет по дьявольскому изобретению, а народ ездит все больше и больше, не обращая внимания на ее проклятия; разве это не грустно,

Разве не служит свидетельством ее бессилия? Об электричестве проведдали люди, — кажется, что тут обидного для Диких и Кабановых? Но, видите ли, Дикой говорит, что «гроза в наказание нам посылается, чтоб мы чувствовали», а Кулигин не чувствует, или чувствует совсем не то, и толкует об электричестве. Разве это не своеволие, не пренебрежение власти и значения Дикого? Не хотят верить тому, чему он верит, значит, и ему не верят, считают себя умнее его; рассудите, к чему же это поведет? Недаром Кабанова замечает о Кулигине: «Вот времена-то припили, какие учителя появились! Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!» И Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она век изжила. Она предвидит конец их, старается поддержать их значение, но уже чувствует, что нет к ним прежнего почтения, что их сохраняют уже неохотно, только поневоле, и что при первой возможности их бросят. Она уже и сама как-то потеряла часть своего рыцарского жара; уже не с прежней энергией заботится она о соблюдении старых обычаев, во многих случаях она уже махнула рукой, поникла пред невозможностью остановить поток и только с отчаянием смотрит, как он затопляет мало-помалу дестрые цветники ее прихотливых суеверий. Точно последние язычники пред силою христианства, так понижают и стираются порождения самодуров, застигнутые ходом новой жизни. Даже решимости выступить на прямую открытую борьбу в них нет: они только стараются как-нибудь обмануть время да разливаются в бесплодных жалобах на новое движение. Жалобы эти всегда слышались от стариков, потому что всегда новые поколения вносили в жизнь что-нибудь новое, противное прежним порядкам, но теперь жалобы самодуров принимают какой-то особенно мрачный, похоронный тон. Кабанова только тем и утешается, что еще как-нибудь с ее помощью простоят старые порядки до ее смерти, а там пусть будет, что угодно, она уж не увидит. Провожая сына в дорогу, она замечает, что всё делается не так, как нужно по ее: сын ей и в ноги не кланяется, надо этого именно потребовать от него, а сам не догадался; и жене своей он не «приказывает», как жить без него, да и не умеет приказать, и при прощаньи не требует от нее земного поклона; и невестка, проводивши мужа, не воеет и не лежит на крыльце, чтобы показать свою любовь. По возможности Кабанова старается водворить порядок, но уже чувствует, что невозможно вести дело совершенно по-старине; например, относительно вытья на крыльце она уже только заме-

чает невестке в виде совета, но не решается настоятельно требовать... Зато проводы сына внушают ей такие грустные размышления:

— Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят; а выйдут на волю-то, так и путаются на покор да смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь, да вон скорее. Что будет, как старики-то перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Пока старики перемрут, до тех пор молодые успеют состариться, на этот счет старуха могла бы и не беспокоиться. Но ей, видите ли, важно не то, собственно, чтобы всегда было кому смотреть за порядком и научать неопытных, ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохранялись именно те порядки, остались неприкосновенными именно те понятия, которые она признает хорошими. В узости и грубости своего эгоизма она не может возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжестве принципа, хотя бы и с пожертвованием существующих форм; да и нельзя от нее ожидать этого, так как у нее, собственно, нет никакого принципа, нет никакого общего убеждения, которое бы управляло ее жизнью. Она в этом случае гораздо ниже того сорта людей, которых принято называть просвещенными консерваторами. Те расширили несколько свой эгоизм, сливши с ним требование порядка общего, так что для сохранения порядка они способны даже жертвовать некоторыми личными вкусами и выгодами. На месте Кабановой они бы, например, не стали предъявлять уродливых и унижительных требований земных поклонов и оскорбительных «наказов» от мужа жене, а озаботились бы только о сохранении общей идеи — что жена должна бояться своего мужа и покорствоваться свекрови. Невестка не испытывала бы таких тяжелых сцен, хотя и была бы точно так же в полной зависимости от старухи. И результат был бы тот, что как бы ни плохо было молодой женщине, но терпение ее продолжалось бы несравнен-

но долгие, будучи испытываемо медленным и ровным гнетом, нежели когда оно раздражалось резкими и жестокими выходками. Отсюда ясно, разумеется, что для самой Кабановой и для той стороны, которую она защищает, гораздо выгоднее было бы отказаться от некоторых пустых форм и сделать частные уступки, чтобы удержать сущность дела. Но порода Кабановых не понимает этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принцип вне себя, — они сами принцип, и потому всё, касающееся их, они признают абсолютно важным. Им нужно не только, чтобы их уважали, но чтоб уважение это выражалось именно в известных формах: вот еще на какой степени стоят они! Оттого, разумеется, внешний вид всего, на что простирается их влияние, более сохраняет в себе старины и кажется более неподвижным, чем там, где люди, отказавшись от самодурства, стараются уже только о сохранении сущности своих интересов и значения; но в самом-то деле внутреннее значение самодуров гораздо ближе к своему концу, нежели влияние людей, умеющих поддерживать себя и свой принцип внешними уступками. Оттого-то так и печальна Кабанова, оттого-то так и бешен Дикой: они до последнего момента не хотели укоротить своих широких замашек и теперь находятся в положении богатого купца накануне банкротства. Все у него попрежнему, и праздник он задает сегодня, и миллионный оборот порешил поутру, и кредит еще не подорван; но уже ходят какие-то темные слухи, что у него нет наличного капитала, что его аферы не надежны, и завтра несколько кредиторов намерены предъявить свои требования; денег нет, отсрочки не будет, и все здание шарлатанского призрака богатства будет завтра опрокинуто. — Дело плохо... Разумеется, в подобных случаях купец устремляет всю свою заботу на то, чтобы надуть своих кредиторов и заставить их верить в его богатство; так точно Кабановы и Дикие хлопочут теперь о том, чтобы только продолжалась вера в их силу. Поправить свои дела они уж и не рассчитывают; но они знают, что их своеволие еще будет иметь довольно простора до тех пор, пока все будут робеть перед ними; и вот почему они так упорны, так высокомерны, так грозны даже в последние минуты, которых уже немного осталось им, как они сами чувствуют. Чем менее чувствуют они действительной силы, чем сильнее поражает их влияние свободного, здравого смысла, доказывающее им, что они лишены всякой разумной опоры, тем наглее и безумнее отрицают они всякие требования разума, ставя себя и свой произвол на их место.

Наивность, с которой Дикой говорит Кулигину: «Хочу считать тебя мошенником, так и считаю; и дела мне нет до того, что ты честный человек, и отчета никому не даю, почему так думаю», — эта наивность не могла бы высказаться во всей своей самодурной нелепости, если бы Кулигин не вызвал ее скромным запросом: «Да за что же вы обижаете честного человека?» Дикой хочет, видите, с первого же раза оборвать всякую попытку требовать от него отчета, хочет показать, что он выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человеческой. Ему кажется, что если он признает над собою законы здравого смысла, общего всем людям, то его важность сильно пострадает от этого. И ведь в большей части случаев так действительно и выходит, потому что его претензии бывают противны здравому смыслу. Отсюда и развивается в нем вечное недовольство и раздражительность. Он сам объясняет свое положение, когда говорит о том, как ему тяжело деньги выдавать. «Что ты мне прикажешь делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать — отдам, а обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутреннюю разжигать станет; всю нутреннюю разжигает, да только... Ну, и втепору ни за что обругаю человека». Отдача денег как факт материальный и наглядный даже в сознании самого Дикого пробуждает некоторое размышление: он сознает, как он нелеп, и сваливает вину на то, «что сердце у него такое!» В других случаях он даже и не сознает хорошенько своей нелепости, но по сущности своего характера непременно должен при всяком торжестве здравого смысла чувствовать такое же раздражение, как и тогда, когда приходится необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вот почему: по естественному эгоизму он желает, чтобы ему было хорошо; все окружающее его убеждает, что это хорошее достается деньгами, отсюда прямая привязанность к деньгам. Но тут его развитие останавливается, эгоизм его остается в пределах отдельной личности и знать не хочет ее отношений к обществу, к своим ближним. Ему надо побольше денег, это он знает, и потому желал бы их только получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дел, доходит до отдачи, то он сердится и ругается: он принимает это, как несчастье, наказание, вроде пожара, наводнения, штрафа, а не как должную, законную расплату за то, что для него делают другие. Так и во всем: по желанию себе добра он хочет простора, независимости; он знать не

хочет закона, определяющего приобретение и пользование всякими правами в обществе. Он только хочет больше, как можно больше прав для себя; когда же нужно признать их и за другими, он считает это посягательством на его личное достоинство, и сердится, и старается всячески оттянуть дело и воспрепятствовать ему. Даже когда он и знает, что уж непременно надо уступить и уступит потом, а все-таки прежде постарается напакостить. «Я отдать — отдам, а обругаю!» И надо полагать, что чем значительнее выдача денег и чем настоятельнее необходимость ее, тем сильнее ругается Дикой. Из этого следует, что, во-первых, ругательство и все бешенство его хотя и неприятны, но не особенно страшны, и кто, убоявшись их, отступился бы от денег и подумал, что их уж и получить нельзя, тот поступил бы очень глупо; во-вторых, что напрасно было бы надеяться на исправление Дикого посредством каких-нибудь вразумлений: привычка душить уж в нем так сильна, что он подчиняется ей даже вопреки голосу собственного здравого смысла. Ясно, что его никакие разумные убеждения не остановят до тех пор, пока с ними не соединяется осязательная для него внешняя сила: Кулигина он ругает, не внимая никаким резонам; а когда его самого однажды на перевозе, на Волге, гусар обругал, так он с гусаром не посмел связаться, а опять-таки выместил свою обиду дома: две недели после этого все прятались от него по чердакам да по чуланам.

Все подобные отношения дают вам чувствовать, что положение Диких, Кабановых и всех подобных им самодуров далеко уже не так спокойно и твердо, как было некогда, в блаженные времена патриархальных нравов. Тогда, если верить сказаниям старых людей, Дикой мог держаться в своей высокомерной прихотливости не силою, а всеобщим согласием. Он дурил, не думая встретить противодействия, и не встречал его: всё окружающее было проникнуто одной мыслью, одним желанием — угодить ему, никто не представлял другой цели своего существования, кроме исполнения его прихотей. Чем больше суясбродствовал какой-нибудь дармоед, чем наглее попирали он права человечества, тем довольнее были те, которые своим трудом кормили его и которых он делал жертвами своих фантазий. Благоговейные рассказы старых лакеев о том, как их вельможные бары травили мелких помещиков, надругались над чужими женами и невинными девушками, секли на конюшне присланных к ним чиновников, и т. п., рассказы военных историков о величии какого-нибудь Наполеона, бесстрашно жертвовавшего сотнями тысяч людей для забавы своего гения, воспо-

минания галантных стариков о каком-нибудь Дон-Жуане их времени, который «никому спуску не давал» и умел опозорить всякую девушку и перессорить всякое семейство, — все подобные рассказы доказывают, что еще и не очень далеко от нас это патриархальное время. Но, к великому огорчению самодурных дармоедов, оно быстро от нас удаляется, и теперь положение Диких и Кабановых далеко не так приятно: они должны заботиться о том, чтобы укрепить и оградить себя, потому что отовсюду возникают требования, враждебные их произволу и грозящие им борьбою с пробуждающимся здравым смыслом огромного большинства человечества. Отсюда возникает постоянная подозрительность, щелетильность и придиричливость самодуров: сознавая внутренно, что их не за что уважать, но не признаваясь в этом даже самим себе, они обнаруживают недостаток уверенности в себе мелочностью своих требований и постоянными, кстати и некстати, напоминаниями и внушениями о том, что их должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется в «Грозе» в сцене Кабановой с детьми, когда она в ответ на покорное замечание сына: «Могу ли я, маменька, вас послушаться», возражает: «Не очень-то нынче старших-то уважают!» и затем начинает пилить сына и невестку, так что душу вытягивает у постороннего зрителя.

К а б а н о в. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.

К а б а н о в а. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

К а б а н о в. Я, маменька...

К а б а н о в а. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А, как ты думаешь?

К а б а н о в. Да когда же я, маменька, не переношил от вас?

К а б а н о в а. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.

К а б а н о в (вздыхая. В сторону). Ах ты, господи! (Матери.) Да смеем ли мы, маменька, подумать!

К а б а н о в а. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не

дает, со свету сживает. А, сохрани господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну, и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

К а б а н о в. Нешто, маменька, кто говорит про вас?

К а б а н о в а. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слыхала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила.

И после этого сознания старуха все-таки продолжает на целых двух страницах пилить сына. Она не имеет на это никаких резонов, но у ней сердце неспокойно: сердце у нее вещун, оно дает ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между ею и младшими членами семьи давно рушилась и теперь они только механически связаны с нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

Мы очень долго останавливались на господствующим лицам «Грозы», потому что, по нашему мнению, история, разыгравшаяся с Катериною, решительно зависит от того положения, какое неизбежно выпадает на ее долю между этими лицами, в том быте, который установился под их влиянием. «Гроза» есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говоря, разумеется, об его этюдах чисто комического характера). В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисуемый на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели.

Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в «Грозе», составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной жизни, он давно требовал своего осуществления в литературе, около него вертелись наши лучшие писатели; но они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности; это сумел сделать Островский. Ни одна из критик на «Грозу» не хотела или не умела представить надлежащей оценки этого характера; поэтому мы решаемся еще продлить нашу статью, чтобы с некоторой обстоятель-

ностью изложить, как мы понимаем характер Катерины и почему создание его считаем так важным для нашей литературы.

Русская жизнь дошла наконец до того, что добродетельные и почтенные, но слабые и безличные существа не удовлетворяют общественного сознания и признаются никуда не годными. Почувствовалась неотлагаемая потребность в людях хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только отвлеченного с ними согласия (которым так блистали всегда добродетельные герои прежнего времени), но и внесения их в жизнь, в деятельность. Но чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий, подставляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодоления препятствий нужны характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права, которое наконец прорывается в людях сквозь преграды, поставленные Дикими-самодурами. Теперь большая задача представлялась в том, как же должен образоваться и проявиться характер, требуемый у нас новым фазисом общественной жизни. Задачу эту пытались разрешать наши писатели, но всегда более или менее неудачно. Нам кажется, что все их неудачи происходили оттого, что они просто логическим процессом доходили до убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его сообразно с своими понятиями о требованиях доблести вообще и русской в особенности. Таким образом и явился, например, Калинович¹, чуть не таскающий купца за бороду, чтоб тот пожертвовал десять тысяч на пользу общества, и истязующий в тюрьме старого князя, на любовнице которого женился, чтоб составить себе карьеру. Так явился и Штольц², отлично управляющий именьями и умеющий живо уничтожать фальшивые векселя при помощи 'благодетельного начальства. Явился Инсаров³, бросающий немца в воду, не соглашающийся жить даром в гостях на даче у приятеля и даже решающийся жениться на любимой девушке!! Явилась и княжна Зинаида⁴, нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке. Всё это были претензии на сильные, цельные характеры. Но верх их представлял в прошлом году

¹ Герой романа Писемского «Тысяча душ».

² Герой романа Гончарова «Обломов».

³ Герой повести Тургенева «Накануне».

⁴ Героиня повести Тургенева «Первая любовь».

Ананий Яковлев¹, по поводу которого московский господин Аполлон Майков напечатал такую удивительную статейку в «Санкт-Петербургских Ведомостях», что я не постигаю, как Кузьма Прутков до сих пор не составил из нее новой серии афоризмов. Вам известно, может быть, что Ананий Яковлев, известясь о младенце, которого в его отсутствие прижила жена его с помещиком, воспаляется гневом и, весьма почтительно объясняясь с помещиками, грубит, однакоже, бурмистру, колотит свою жену и наконец, разъярившись донельзя, хватает младенца об утом головой, после чего бежит в лес, но, проголодавшись, предает себя в руки правосудия. Лицо, очевидно, сильное, хотя более в физическом, нежели в нравственном и литературном смысле. Но не эта сила рвется наружу из тайников русской жизни и не таково должно быть ее проявление. Оттого-то мы вовсе не понимаем, каким образом можно «Горькую судьбину» возвышать над уровнем бесчисленного множества повестей, комедий и драм, обличающих крепостное право, тупость чиновничества и грубость русского мужика. Если вы даете ее нам как пьесу без особенных претензий, просто мелодраматический случай, вроде жестоких произведений Сю, — то мы ничего не говорим и останемся даже довольны: все-таки это лучше, нежели, напр., умильные предствления г. Н. Львова и графа Соллогуба, поражающие вас полным искажением понятий о долге и чести. Но если вы претендуете на какое-то более высокое и общее значение этой пьесы, то мы решительно не видим никакой возможности согласиться с вами. Ананий Яковлев, взятый не как малодушное исключение, а как тип, представляется нам клеветой на русскую натуру и русскую жизнь, которая так же мало способна развивать характеры, подобные Ананию, как и помещиков, подобных Чеглову. Одно из двух: если Ананий точно сильная натура, как его и хочет представить автор, тогда он гнев свой должен обратить прямо на причину своего несчастья либо совсем преодолеть себя, по соображению, что тут никто не виноват; такие развязки постоянно мы и видим в русской жизни, когда сильные характеры сталкиваются с враждебными обстоятельствами. Если же он просто малодушный и бестолковый озорник, как выходит по сущности дела, то нужно признаться, что положение, взятое для него в пьесе, вовсе нейдет к этому типу да и развито совсем не так, чтобы ярко обозначить его существенные черты. Впрочем, бог с ней, с этой пьесой: она уже забыта теперь, как забыты «Князь

¹ Герой драмы Писемского «Горькая судьбина».

Луповицкий»¹ и другие благонамеренные, но фальшивые произведения, имевшие претензию на представление характеристических народных типов. Мы остановились на минуту пред нею потому только, что многие принимали Анания за чисто русский тип. А нам, напротив, показалось, что в нем просто дается нам утрировка того, что у некоторых писателей называется «широтою русской природы». Автор «Горькой судьбины», по нашему мнению, ненамеренно достигает результата, подобного тому, какой достигался комедиями, писанными по повелению Петра Великого против раскольников. Известно, что в тех комедиях раскольник всегда представлялся каким-то диким и бессмысленным чудовищем, и, таким образом, комедия говорила: «Смотрите, вот они каковы; можно ли доверяться их учению и соглашаться на их требования?» Так точно и «Горькая судьбина», рисуя нам Анания Яковлева, говорит: «Вот каков русский человек, когда он почувствует немножко свое личное достоинство и, вследствие того, расходитя!» И критики, признающие за «Горькой судьбиной» общее значение и видящие в Анании тип, делаютя соучастниками этой клеветы, конечно, ненамеренной со стороны автора.

Не так понят и выражен русский сильный характер в «Грозе». Он прежде всего поражает нас своею противоположною всяким самодурным началам. Не с инстинктом буйства и разрушения, но и не с практической ловкостью улаживать для высоких целей свои собственные делишки, не с бессмысленным, трескучим пафосом, но и не с дипломатическим, педантским расчетом является он перед нами. Нет, он сосредоточенно-решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен, в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны. Он водится не отвлеченными принципами, не практическими соображениями, не мгновенным пафосом, а просто *натурою*, всем существом своим. В этой цельности и гармонии характера заключается его, сила и существенная необходимость его в то время, когда старые, дикие отношения, потеряв всякую внутреннюю силу, продолжают держаться внешнею механическою связью. Человек, только логически понимающий нелепость самодурства Диких и Кабановых, ничего не сделает против них уже потому, что пред ними всякая логика исчезает; никакими силлогизмами вы не убедите цепь, чтоб она распалась на узнике, кулак, чтобы от него не было

¹ «Князь Луповицкий, или приезд в деревню» — комедия К. Аксакова.

больно прибитому; так не убедите вы и Дикого поступать разумнее, да не убедите и его домашних не слушать его прихотей: приколотит он их всех, да и только, что с этим делать будешь? Очевидно, что характеры, сильные одной логической стороной, должны развиваться очень убого и иметь весьма слабое влияние на жизненную деятельность там, где всею жизнью управляет не логика, а чистейший произвол. Не очень благоприятно господство Диких и для развития людей, сильных так называемым практическим смыслом. Что ни говорите об этом смысле, но в сущности он есть не что иное, как умение пользоваться обстоятельствами и располагать их в свою пользу. Значит, практический смысл может вести человека к прямой и честной деятельности только тогда, когда обстоятельства располагаются сообразно с здравой логикой и, следовательно, с естественными требованиями человеческой нравственности. Но там, где все зависит от грубой силы, где неразумная прихоть нескольких Диких или суеверное упрямство какой-нибудь Кабановой разрушает самые верные логические расчеты и нагло презирает самые первые основания взаимных прав, там умение пользоваться обстоятельствами, очевидно, превращается в умение применяться к прихотям самодуров и подделываться под все их нелепости, чтобы и себе проложить дорожку к их выгодному положению. Подхалюзины и Чичиковы — вот сильные практические характеры «темного царства», других не развивается между людьми чисто практического закала под влиянием господства Диких. Самое лучшее, о чем можно мечтать для этих практиков, это уподобление Штольцу, то есть умение обделывать кругленько свои делишки без подлостей; но общественный живой деятель из них не явится. Не больше надежд можно полагать и на характеры патетические, живущие минутою и вспышкой. Их порывы случайны и кратковременны; их практическое значение определяется удачей. Пока все идет согласно их надеждам, они бодры, предприимчивы; как скоро противодействие сильно, они падают духом, охлаждаются, отступаются от дела и ограничиваются бесплодными, хотя и громкими восклицаниями. И так как Дикой и ему подобные вовсе неспособны отдать свое значение и свою силу без сопротивления, так как их влияние врезало уже глубокие следы в самом быте и потому не может быть уничтожено одним разом, то на патетические характеры нечего и смотреть, как на что-нибудь серьезное. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, когда бы видимый успех ободрял их, то есть когда бы самодуры могли понять шат-

кость своего положения и стали делать уступки, — и тогда патетические люди не очень много бы сделали. Они отличаются тем, что, увлекаясь внешним видом и ближайшими последствиями дела, никогда почти не умеют заглянуть в глубину, в самую сущность дела. Оттого они очень легко удовлетворяются, обманутые какими-нибудь частными, ничтожными признаками успеха их начал. Когда же ошибка их станет ясною для них самих, тогда они делаются разочарованными, впадают в апатию и ничегонеделанье. Дикой и Кабанова продолжают торжествовать.

Таким образом, перебирая разнообразные типы, являющиеся в нашей жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили к убеждению, что они не могут служить представителями того общественного движения, которое чувствуется у нас теперь и о котором мы, — по возможности подробно, — говорили выше. Видя это, мы спрашивали себя: как же, однако, определятся новые стремления в отдельной личности? Какими чертами должен отличаться характер, которым совершится решительный разрыв с старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни? В действительной жизни пробуждающегося общества мы видели лишь намеки на решение наших вопросов, в литературе — слабое повторение этих намеков; но в «Грозе» составлено из них целое, уже с довольно ясными очертаниями; здесь является перед нами лицо, взятое прямо из жизни, но выясненное в сознании художника и поставленное в такие положения, которые дают ему обнаруживаться полнее и решительнее, нежели как бывает в большинстве случаев обыкновенной жизни. Таким образом, здесь нет дагерротипной точности, в которой некоторые критики обвиняли Островского, но есть именно художественное соединение однородных черт, проявляющихся в разных положениях русской жизни, но служащих выражением одной идеи.

Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не лишено своего серьезного значения. Известно, что крайности отражаются крайностями и что самый сильный протест бывает тот, который поднимается наконец из груди самых слабых и терпеливых. Поприще, на котором Островский наблюдает и показывает нам русскую жизнь, не касается отношений чисто общественных и государственных, а ограничивается семейством; в семействе же кто более всего выдерживает на себе гнет самодурства, как не женщина? Какой приказчик, работник, слуга Дикого может быть столько загнан, забит, отрешен от своей личности,

как его жена? У кого может накопиться столько горя и негодования против нелепых фантазий самодура? И в то же время кто менее ее имеет возможности высказать свой ропот, отказаться от исполнения того, что ей противно? Слуги и приказчики связаны только материально, людским образом; они могут оставить самодура тотчас, как найдут себе другое место. Жена, по господствующим понятиям, связана с ним неразрывно, духовно, посредством таинства; что бы муж ни делал, она должна ему повиноваться и разделять с ним его бессмысленную жизнь. Да если б, наконец, она и могла уйти, то куда она денется, за что примется? Кудряш говорит: «Я нужен Дикому, поэтому я не боюсь его и вольничать ему над собою не дам». Легко человеку, который пришел к сознанию того, что он действительно нужен для других; но женщина, жена? К чему нужна она? Не сама ли она, напротив, все берет от мужа? Муж ей дает жилище, поит, кормит, одевает, защищает ее, дает ей положение в обществе... Не считается ли она обыкновенно обременением для мужчины? Не говорят ли благоразумные люди, удерживая молодых людей от женитьбы: «Жена-то ведь не лапоть, с ноги не сбросишь!» И в общем мнении самая главная разница жены от лаптя в том и состоит, что она приносит с собою целую обузу забот, от которых муж не может избавиться, тогда как лапоть дает только удобство, а если неудобен будет, то легко может быть сброшен... Находясь в подобном положении, женщина, разумеется, должна позабыть, что и она такой же человек, с такими же самыми правами, как и мужчина. Она может только деморализоваться, и если личность в ней сильна, то получить склонность к тому же самодурству, от которого она столько страдала. Это мы и видим, например, в Кабанихе, точно так, как видели в Уланбековой. Ее самодурство только уже и мельче и оттого, может быть, еще бессмысленнее мужского: размеры его меньше, но зато в своих пределах, на тех, кто уж ему попался, оно действует еще несноснее. Дикой ругается, Кабанова ворчит; тот прибьет, да и кончено, а эта грызет свою жертву долго и неотступно; тот шумит из-за своих фантазий и довольно равнодушен к вашему поведению, покамест оно до него не коснется; Кабаниха создала себе целый мирок особенных правил и суеверных обычаев, за которые стоит со всем тупоумием самодурства. Вообще — в женщине, даже достигшей положения независимого и соп атоге упражняющейся в самодурстве, видно всегда ее сравнительное бессилие, следствие векового ее угнетения: она тяжеле, подозрительней, бездушной в своих тре-

бованиях; здравому рассуждению она не поддается уже не потому, что презирает его, а скорее потому, что боится с ним не справиться: «начнешь, дескать, рассуждать, а еще что из этого выйдет, — оплетут как раз» — и вследствие того она строго держится старины и различных наставлений, сообщенных ей какою-нибудь Феклушею.

Ясно из этого, что если уж женщина захочет высвободиться из подобного положения, то ее дело будет серьезно и решительно. Какому-нибудь Кудряшу ничего не стоит поругаться с Диким: оба они нужны друг другу, и, стало быть, со стороны Кудряша не нужно особенного героизма для предъявления своих требований. Зато его выходка и не поведет ни к чему серьезному: поругается он, Дикой погрозит отдать его в солдаты, да не отдаст; Кудряш будет доволен тем, что отгрызся, а дела опять пойдут попрежнему. Не то с женщиной: она должна иметь много силы и характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои требования. При первой же попытке ей дадут почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могут. Она знает, что это действительно так, и должна смириться; иначе над ней исполнят угрозу — прибудут, запрут, оставят на покаянии, на хлебе и воде, лишат света дневного, испытают все домашние исправительные средства доброго старого времени и приведут-таки к покорности. Женщина, которая хочет идти до конца в своем протесте против угнетения и произвола старших в русской семье, должна быть исполнена героического самоотвержения, должна на все решиться и ко всему быть готова. Каким образом может она выдержать себя? Где взять ей столько характера? На это только и можно отвечать тем, что естественных стремлений человеческой природы совсем уничтожить нельзя. Можно их наклонять в сторону, давить, сжимать, но все это только до известной степени. Торжество ложных положений показывает только, до какой степени может доходить упругость человеческой природы; но чем положение неестественнее, тем ближе и необходимее выход из него. И значит, уж оно очень неестественно, когда его не выдерживают даже самые гибкие натуры, наиболее подчинявшиеся влиянию силы, производившей такие положения. Если уж и гибкое тело дитяти поддается какому-нибудь гимнастическому фокусу, то очевидно, что он невозможен для взрослых, которых члены более тверды. Взрослые, конечно, и не допустят с собою такого фокуса, но над дитятею легко могут его попробовать. А где берет дитя характер для того, чтобы ему воспротивиться всеми силами, хотя бы за сопротивление

обещано было самое страшное наказание? Ответ один: в невозможности выдержать то, к чему его принуждают... То же самое надо сказать и о слабой женщине, решающейся на борьбу за свои права: дело дошло до того, что ей уж невозможно дальше выдерживать свое унижение, вот она и рвется из него уже не по соображению того, что лучше и что хуже, а только по инстинктивному стремлению к тому, что выносимо и возможно. *Натура* заменяет здесь и соображения рассудка и требования чувства и воображения; все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи, свободы. Здесь-то и заключается тайна цельности характеров, появляющихся в обстоятельствах, подобных тем, какие мы видели в «Грозе», в обстановке, окружающей Катерину.

Таким образом, возникновение женского энергического характера вполне соответствует тому положению, до какого доведено самодурство в драме Островского. Оно дошло до крайности, до отрицания всякого здравого смысла; оно более чем когда-нибудь враждебно естественным требованиям человечества и ожесточеннее прежнего силится остановить их развитие, потому что в торжестве их видит приближение своей неминуемой гибели. Через это оно еще более вызывает ропот и протест даже в существах самых слабых. А вместе с тем самодурство, как мы видели, потеряло свою самоуверенность, лишилось и твердости в действиях, утратило и значительную долю той силы, которая заключалась для него в наведении страха на всех. Поэтому протест против него не заглушается уже в самом начале, а может превратиться в упорную борьбу. Те, которым еще сносно жить, не хотят теперь рисковать на подобную борьбу, в надежде, что и так недолго прожить самодурству. Муж Катерины, молодой Кабанов, хоть и много терпит от старой Кабанихи, но всё же он независимее: он может и к Савелу Прокофичу выпить сбегать, он и в Москву съездит от матери и там развернется на воле, а коли плохо ему уж очень придется от старухи, так есть на ком вылить свое сердце — он на жену вскинется... Так и живет себе и воспитывает свой характер, ни на что не годный, все в тайной надежде, что вырвется как-нибудь на волю. Жене его нет никакой надежды, никакой отрады, передышаться ей нельзя; если может, то пусть живет без дыханья, забудет, что есть вольный воздух на свете, пусть отречется от своей природы и сольется с капризными прихотями и деспотизмом старой Кабанихи. Но вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожностям погибающего самодурства, врываются в келью

довольству, счастью. В разговорах странниц, в земных поклонах и причитаниях она видела не мертвую форму, а что-то другое, к чему постоянно стремилось ее сердце. На основании их она строила себе свой идеальный мир, без страстей, без нужды, без горя, мир, весь посвященный добру и наслажденью. Но в чем настоящее добро и истинное наслаждение для человека, она не могла определить себе; вот отчего эти внезапные порывы каких-то безотчетных, неясных стремлений, о которых она вспоминает: «Иной раз бывало рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно». Бедная девочка, не получившая широкого теоретического образования, не знающая всего, что на свете делается, не понимающая хорошенько даже своих собственных потребностей, не может, разумеется, дать себе отчета в том, что ей нужно. Покамест она живет у матери, на полной свободе, без всякой житейской заботы, пока еще не обозначились в ней потребности и страсти взрослого человека, она не умеет даже отличить своих собственных мечтаний, своего внутреннего мира от внешних впечатлений. Забываясь среди богомолков в своих радужных думах и гуляя в своем светлом царстве, она все думает, что ее довольство происходит именно от этих богомолков, от лампадок, зажженных по всем углам в доме, от причитаний, раздающихся вокруг нее; своими чувствами она одушевляет мертвую обстановку, в которой живет, и сливает с ней внутренний мир души своей. Это период детства, для многих тянувшийся долго, очень долго, но все-таки имеющий свой конец. Если конец приходит очень поздно, если человек начинает понимать, чего ему нужно, тогда уже, когда большая часть жизни изжита, в таком случае ему ничего почти не остается, кроме сожаления о том, что так долго принимал он собственные мечты за действительность. Он находится тогда в печальном положении человека, который, наделив в своей фантазии всеми возможными совершенствами свою красавицу и связав с нею жизнь свою, вдруг замечает, что все совершенства существовали только в его воображении, а в ней самой нет и следа их. Но характеры сильные редко поддаются такому решительному заблуждению: в них очень сильно требование ясности и реальности, оттого они не останавливаются на неопределенностях и стараются выбраться из них во что бы то ни стало. Заметив в себе недовольство, они стараются прогнать

его, но, видя, что оно не проходит, кончают тем, что дают полную свободу высказаться новым требованиям, возникающим в душе, и затем уже не успокоятся, пока не достигнут их удовлетворения. А тут и сама жизнь приходит на помощь — для одних благоприятно, расширением круга впечатлений, а для других трудно и горько — стеснениями и заботами, разрушающими гармоническую стройность юных фантазий. Последний путь выпал на долю Катерине, как выпадает он на долю большей части людей в «темном царстве» Диких и Кабановых.

В сумрачной обстановке новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность внешности, которую думала довольствоваться прежде. Под тяжелой рукою бездушной Кабанихи нет простора ее светлым видениям, как нет свободы ее чувствам. В порыве нежности к мужу она хочет обнять его, — старуха кричит: «Что на шею виснешь, бесстыдница? В ноги кланяйся!» Ей хочется остаться одной и погрузиться тихонько, как бывало, а свекровь говорит: «Отчего не воешь?» Она ищет света, воздуха, хочет помечтать и порезвиться, полить свои цветы, посмотреть на солнце, на Волгу, послать свой привет всему живому, а ее держат в неволе, в ней постоянно подозревают нечистые, развратные замыслы. Она ищет убежища попрежнему в религиозной практике, в посещении церкви, в душеспасительных разговорах, но и здесь не находит уже прежних впечатлений. Убитая дневной работой и вечной неволей, она уже не может с прежней ясностью мечтать об ангелах, поющих в пыльном столбе, освещенном солнцем, не может вообразить себе райских садов с их невозмущаемым видом и радостью. Всё мрачно, страшно вокруг нее, всё веет холодом и какой-то неотразимой угрозой: и лики святых так строги, и церковные чины так грозны, и рассказы странниц так чудовищны... Они все те же в сущности, они нисколько не изменились, но изменилась она сама: в ней уже нет охоты строить воздушные видения, да уж и не удовлетворяет ее то неопределенное воображение блаженства, которым она наслаждалась прежде. Она возмужала, в ней проснулись другие желания, более реальные; не зная иного поприща, кроме семьи, иного мира, кроме того, какой сложился для нее в обществе ее городка, она, разумеется, и начинает сознавать из всех человеческих стремлений то, которое всего неизбежнее и всего ближе к ней, — стремление любви и преданности. В прежние времена ее сердце было слишком полно мечтами, она не обращала внимания на молодых людей, которые на нее заглядывались, а только смеялась.

Выходя замуж за Тихона Кабанова, она и его не любила, она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой девушке надо замуж выходить, показали Тихона, как будущего мужа, она и пошла за него, оставаясь совершенно индифферентною к этому шагу. И здесь тоже проявляется особенность характера: по обычным нашим понятиям, ей бы следовало противиться, если у ней решительный характер, но она и не думает о сопротивлении, потому что не имеет достаточно оснований для этого. Ей нет особенной охоты выходить замуж, но нет и отвращения от замужества; нет в ней любви к Тихону, но нет любви и ни к кому другому. Ей всё равно покамест, вот почему она и позволяет делать с собою что угодно. В этом нельзя видеть ни бессилия, ни апатии, а можно находить только недостаток опытности да еще слишком большую готовность делать всё для других, мало заботясь о себе. У ней мало знания и много доверчивости, вот отчего до времени она не выказывает противодействия окружающим и решается лучше терпеть, нежели делать назло им.

Но когда она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тут-то и проявится вполне сила ее характера, не растрченная в мелочных выходках. Сначала по врожденной доброте и благородству души своей она будет делать всевозможные усилия, чтобы не нарушить мира и прав других, чтобы получить желаемое с возможно большим соблюдением всех требований, какие на нее налагаются людьми, чем-нибудь связанными с ней; и если они сумеют воспользоваться этим первоначальным настроением и решатся дать ей полное удовлетворение, хорошо тогда и ей и им. Но если нет, она ни перед чем не остановится, закон, родство, обычай, людской суд, правила благоразумия — всё исчезает для нее пред силою внутреннего влечения, она не щадит себя и не думает о других. Такой именно выход представился Катерине, и другого нельзя было ожидать среди той обстановки, среди которой она находится.

Чувство любви к человеку, желание найти родственный отзыв в другом сердце, потребность нежных наслаждений естественным образом открылись в молодой женщине и изменили ее прежние неопределенные и бесплодные мечты. «Ночью, Варя, не спится мне, — рассказывает она, — все мерещится шопот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо, горячо и ведет меня куда-то, и я иду

за ним, иду...» Она сознала и уловила эти мечты уже довольно поздно; но, разумеется, они преследовали и томили ее задолго прежде, чем она сама могла дать себе отчет в них. При первом их появлении она тотчас же обратила свое чувство на то, что всего ближе к ней было — на мужа. Она долго усиливалась сроднить с ним свою душу, уверить себя, что с ним ей ничего не нужно, что в нем-то и есть блаженство, которого она так тревожно ищет. Она со страхом и недоумением смотрела на возможность искать взаимной любви в ком-нибудь, кроме его. В пьесе, которая застаёт Катерину уже с началом любви к Борису Григорьичу, все еще видны последние, отчаянные усилия Катерины — сделать себе милым своего мужа. Сцена ее прощания с ним дает нам чувствовать, что и тут еще не все потеряно для Тихона, что он еще может сохранить права свои на любовь этой женщины; но эта же сцена в коротких, но резких очерках передает нам целую историю истязаний, которые заставили вытерпеть Катерину, чтобы оттолкнуть ее первое чувство от мужа. Тихон является здесь простодушным и пошловатым, совсем не злым, но до крайности бесхарактерным существом, не смеющим ничего сделать вопреки матери. А мать — существо бездушное, кулак-баба, заключающая в китайских церемониях и любовь, и религию, и нравственность. Между нею и между своей женой Тихон представляет один из множества тех жалких типов, которые обыкновенно называются безвредными, хотя они в общем-то столь же вредны, как и сами самодуры, потому что служат их верными помощниками. Тихон сам по себе любил жену и готов был все для нее сделать, но гнет, под которым он вырос, так его изуродовал, что в нем никакого сильного чувства, никакого решительного стремления развиться не может. В нем есть совесть, есть желание добра, но он постоянно действует против себя и служит покорным орудием матери, даже в отношениях своих к жене. Еще в первой сцене появления семейства Кабановых на бульваре мы видим, каково положение Катерины между мужем и свекровью. Кабаниха ругает сына, что жена его не боится; он решается возразить: «Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит». Старуха тотчас же вскидывается на него: «Как, зачем бояться? Как, зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно: какой же это порядок-то в доме будет! Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит?» Под такими началами, разумеется, чувство любви в Катерине не находит простора и прячется

внутри ее, сказываясь только по временам судорожными порывами. Но и этими порывами муж не умеет пользоваться: он слишком забит, чтобы понять силу ее страстного томления. «Не разберу я тебя, Катя, — говорит он ей: — то от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь». Так обыкновенно дюжинные и испорченные натуры судят о натуре сильной и свежей: они, судя по себе, не понимают чувства, которое схоронилось в глубине души, и всякую сосредоточенность принимают за апатию; когда же наконец, не будучи в состоянии скрываться долее, внутренняя сила хлынет из души широким и быстрым потоком, они удивляются и считают это каким-то фокусом, причудою, вроде того, как и самим приходит иногда фантазия впасть в пафос или кутнуть. А между тем эти порывы составляют необходимость в натуре сильной и бывают тем разительнее, чем они дольше не находят себе выхода. Они неумышленны, не соображены, а вызваны естественной необходимостью. Сила натуры, которой нет возможности развиваться деятельно, выражается и пассивно — терпением, сдержанностью. Но только не смешивайте этого терпения с тем, которое происходит от слабого развития личности в человеке и которое кончается тем, что привыкает к оскорблениям и тягостям всякого рода. Нет, Катерина не привыкнет к ним никогда; она еще не знает, на что и как она решится, она ничем не нарушает своих обязанностей к свекрови, делает всё возможное, чтобы хорошо уладиться с мужем, но по всему видно, что она чувствует свое положение и что ее тянет вырваться из него. Никогда она не жалуется, не бранит свекрови; сама старуха не может на нее взнести этого; и однакоже свекровь чувствует, что Катерина составляет для нее что-то неподходящее, враждебное. Тихон, который как огня боится матери и притом не отличается особенною деликатностью и нежностью, совестится, однако, перед женою, когда по повелению матери должен ей наказывать, чтобы она без него «в окна глаз не палила» и «на молодых парней не заглядывалась». Он видит, что горько оскорбляет ее такими речами, хотя хорошенько и не может понять ее состояния. По выходе матери из комнаты он утешает жену таким образом: «Всё к сердцу-то принимать, так в чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить. Ну, и пушай она, говорит, а ты мимо ушей пропускай!» Вот этот индифферентизм точно плох и безнадежен; но Катерина никогда не может дойти до него, хотя по наружности она даже меньше огорчается, нежели Тихон, меньше жалуется, но, в сущности, она страдает гораздо

больше. Тихон тоже чувствует, что он не имеет чего-то нужного, в нем тоже есть недовольство. Он не может очень решительно добиваться независимости и своих прав — уже и потому, что он не знает, что с ними делать; желание его больше головное, внешнее, а собственно натура его, подавшись гнету воспитания, так и осталась почти глухою к естественным стремлениям. Поэтому самое искание свободы в нем получает характер уродливый. Тихон, видите, наслышан от кого-то, что он «тоже мужчина» и потому должен в семье иметь известную долю власти и значение, поэтому он себя ставит гораздо выше жены и, полагая, что ей уж так и бог судил терпеть и смиряться, на свое положение под началом у матери смотрит как на горькое и унижительное. Затем, он склонен к разгулу и в нем-то, главным образом, и ставит свободу. Тихон, собираясь уезжать, с бесстыднейшим цинизмом говорит жене, упрашивающей его взять ее с собою: «С этакой-то неволи от какой хочешь красавицы-жены убежишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина; всю жизнь вот так жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?» Катерина только и может ответить ему на это: «Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?» Но Тихон не понимает всей важности этого мрачного и решительного упрека; как человек, уже махнувший рукою на свой рассудок, он отвечает небрежно: «Слова, как слова! Какие же мне еще слова говорить!» — и торопится отделаться от жены. А зачем? Что он хочет делать, на чем отвести душу, вырвавшись на волю? Он об этом сам рассказывает потом Кулигину: «На дорогу-то маменька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил; так это кучу, что на-поди. Так, чтобы уж на целый год отгуляться!..» Вот и всё! И надо сказать, что в прежнее время, когда еще сознание личности и ее прав не поднялось в большинстве, почти только подобными выходками и ограничивались протесты против самодурного гнета. Да и нынче еще можно встретить множество Тихонов, упивающихся если не вином, то какими-нибудь рассуждениями и спичами и отводящих душу в шуме словесных оргий. Это именно люди, которые постоянно жалуются на свое стесненное положение, а между тем заражены гордою мыслью о своих привилегиях и о своем превосходстве над другими: «Какой ни на есть, а я все-таки мужчина, — так каково мне

терпеть-то». То есть: «Ты терпи, потому что ты баба и, стало быть, дрянь, а мне надо волю, — не потому, чтоб это было человеческое, естественное требование, а потому, что таковы права моей привилегированной особы». Ясно, что из подобных людей и замашек никогда и не могло и не может ничего выйти.

Но не похоже на них новое движение народной жизни, о котором мы говорили выше и отражение которого нашли в характере Катерины. В этой личности мы видим уже возмужалое, из глубины всего организма возникающее требование права и простора жизни. Здесь уже не воображение, не наслышка, не искусственно возбужденный порыв является нам, а жизненная необходимость природы. Катерина не капризничает, не кокетничает своим недовольством и гневом, — это не в ее натуре; она не хочет импонировать на других, выставиться и похвалиться. Напротив, живет она очень мирно и готова всему подчиниться, что только не противно ее натуре; принцип ее, если б она могла сознать и определить его, был бы тот, чтобы как можно менее своей личностью стеснять других и тревожить общее течение дел. Но зато, признавая и уважая стремлений других, она требует того же уважения и к себе, и всякое насилие, всякое стеснение возмущает ее кровно, глубоко. Если б она могла, она бы прогнала далеко от себя все, что живет неправо и вредит другим; но не будучи в состоянии сделать этого, она идет обратным путем — сама бежит от губителей и обидчиков. Только бы не подчиниться их началам вопреки своей натуре, только бы не помириться с их неестественными требованиями, а там что выйдет — лучшая ли доля для нее или гибель, — на это она уж не смотрит: в том и другом случае для нее избавление... О своем характере Катерина сообщает Варе одну черту еще из воспоминаний детства: «Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять...» Эта детская горячность сохранилась в Катерине; только вместе с общей возмужалостью прибавилась в ней и сила выдерживать впечатления и господствовать над ними. Взрослая Катерина, поставленная в необходимость терпеть обиды, находит в себе силу долго переносить их без напрасных жалоб, полусопротивлений и всяких шумных выходов. Она терпит до тех пор, пока не заговорит в ней какой-нибудь интерес, особенно близкий ее сердцу и законный в ее глазах, пока

не оскорблено в ней такое требование ее природы, без удовлетворения которого она не может оставаться спокойною. Тогда она уж ни на что не смотрит. Она не прибегает к дипломатическим уловкам, к обманам и плутням, — не такова она. Если уж нужно непременно обманывать, так она лучше старается перемочь себя. Варя советует Катерине скрывать свою любовь к Борису; она говорит: *«Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу»*, и вслед затем делает усилие над своим сердцем и опять обращается к Варе с такой речью: *«Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю!»* Но усилие уже выше ее возможности; через минуту она чувствует, что ей не отделаться от возникшей любви. *«Разве я хочу о нем думать, — говорит она, — да что делать, коли из головы нейдет?»* В этих простых словах очень ясно выражается, как сила естественных стремлений, неприметно для самой Катерины, одерживает в ней победу над всеми внешними требованиями, предрассудками и искусственными комбинациями, в которых запутана жизнь ее. Заметим, что теоретическим образом Катерина не могла отвергнуть ни одного из этих требований, не могла освободиться ни от каких отсталых мнений; она пошла против всех них, вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивным сознанием своего прямого, неотъемлемого права на жизнь, счастье и любовь... Она нимало не резонирует, но с удивительною легкостью разрешает все трудности своего положения. Вот ее разговор с Варварой:

В а р в а р а. Ты какая-то мудреная, бог с тобой! А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было.

К а т е р и н а. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.

В а р в а р а. А не стерпится, что ж ты сделаешь?

К а т е р и н а. Что я сделаю?

В а р в а р а. Да, что ты сделаешь?

К а т е р и н а. *Что мне только захочется, то и сделаю.*

В а р в а р а. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.

К а т е р и н а. Что мне! Я уйду, да и была такова.

В а р в а р а. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

К а т е р и н а. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог этому случиться. А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!

Вот истинная сила характера, на которую во всяком случае можно положиться. Вот высота, до которой доходит наша народная жизнь в своем развитии, но до которой в литературе нашей умели подниматься весьма немногие, и никто не умел на ней так хорошо держаться, как Островский. Он почувствовал, что не отвлеченные верования, а жизненные факты управляют человеком, что не образ мыслей, не принципы, а натура нужна для образования и проявления крепкого характера, и он умел создать такое лицо, которое служит представителем великой народной идеи, не идя великих идей ни на языке, ни в голове, самоотверженно идет до конца в неравной борьбе и гибнет, вовсе не обрекая себя на высокое самоотвержение. Ее поступки находятся в гармонии с ее натурой, они для нее естественны, необходимы, она не может от них отказаться, хотя бы это имело самые губительные последствия. Претендованные в других творениях нашей литературы, сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющие довольно красиво и бойко, но зависящие в своих проявлениях от постороннего механизма, подведенного к ним; Катерина, напротив, может быть уподоблена многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство; характер ее течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит, но течение не останавливается; ровное дно, она течет спокойно, камни большие встретились — она через них перескакивает, обрыв — льется каскадом, запружают ее — она бушует и прорывается в другом месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось пошуметь или рассердиться на препятствия, а просто потому, что это ей необходимо для выполнения ее естественного требования — для дальнейшего течения. Так и в том характере, который воспроизведен нам Островским: мы знаем, что он выдержит себя, несмотря ни на какие препятствия; а когда сил нехватит, то погибнет, но не изменит себе. Высокие ораторы правды, претендующие на «отречение от себя для великой идеи», весьма часто оканчивают тем, что отступаются от своего служения, говоря, что борьба со злом еще слишком безнадежна, что она повела бы только к напрасной гибели, и пр. Они справедливы, и нельзя их упрекать в малодушии; но во всяком случае нельзя не видеть в этом, что «идея», которой они хотят служить, составляет для них что-то внешнее, без чего они могут обойтись, что они умеют очень хорошо отделить от своих личных, прямых потребностей. Ясно, что как бы ни был велик их азарт в пользу идеи, он всегда будет гораздо слабее и ниже того простого, инстинктивного,

неотразимого влечения, которое управляет поступками личностей вроде Катерины, даже и не думающих ни о каких высоких «идеях».

В положении Катерины мы видим, что, напротив, все «идеи», внушенные ей с детства, все принципы окружающей среды восстают против ее естественных стремлений и поступков. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается в каждом слове, в каждом движении драмы, и вот где оказывается вся важность вводных лиц, за которых так упрекают Островского. Вспомните хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана в понятиях, одинаковых с понятиями среды, в которой живет, и не может от них отрешиться, не имея никакого теоретического образования. Рассказы странниц и внушения домашних хоть и перерабатывались ею по-своему, но не могли не оставить безобразного следа в ее душе; и действительно, мы видим в пьесе, что Катерина, потеряв свои радужные мечты и идеальные, выпренные стремления, сохранила от своего воспитания одно сильное чувство — страх каких-то темных сил, чего-то неведомого, чего она не могла бы объяснить себе хорошенько, ни отвергнуть. За каждую мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждет себе кары; ей кажется, что гроза ее убьет, потому что она грешница, картины геенны огненной на стене церковной представляются ей уже предвестием ее вечной муки... А все окружающее поддерживает и развивает в ней этот страх: Феклуши ходят к Кабанихе толковать о последних временах; Дикой твердит, что гроза в наказание нам посылается, чтобы мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страх на всех в городе, показывается несколько раз с тем, чтобы злоеющим голосом прокричать над Катериной: «Все в огне гореть будете в неугасимом». Все окружающие полны суеверного страха, и все окружающие, согласно с понятиями и самой Катерины, должны смотреть на ее чувство к Борису, как на величайшее преступление. Даже удалой Кудряш, *esprit fort* этой среды, и тот находит, что девкам можно гулять с парнями, сколько хочешь, — это ничего, а бабам надо уж взаперти сидеть. Это убеждение так в нем сильно, что, узнав о любви Бориса к Катерине, он, несмотря на свое удалство и некоторого рода бесчинство, говорит, что «это дело бросить надо». Всё против Катерины, даже и ее собственные понятия о добре и зле; все должно заставить ее заглушить свои порывы и завянуть в холодном и мрачном формализме семейной безгласности и покорности, без всяких живых стремлений, без воли, без любви, — или же научиться обма-

нывать людей и совесть. Но не бойтесь за нее, не бойтесь даже тогда, когда она сама говорит против себя: она может на время или покориться, повидимому, или даже пойти на обман, как речка может скрыться под землю или удалиться от своего русла; но текучая вода не остановится и не пойдет назад, а все-таки дойдет до своего конца, до того места, где может она слиться с другими водами и вместе бежать к водам океана. Обстановка, в которой живет Катерина, требует, чтобы она лгала и обманывала; «без этого нельзя, — говорит ей Варвара, — ты вспомни, где ты живешь; у нас на этом весь дом держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало». Катерина поддается своему положению, выходит к Борису ночью, прячет от свекрови свои чувства в течение десяти дней. Можно подумать: вот и еще женщина сбилась с пути, выучилась обманывать домашних и будет развратничать втихомолку, притворно лаская мужа и нося отвратительную маску смиренницы! Нельзя было бы строго винить ее и за это: положение ее так тяжело! Но тогда она была бы одним из дюжинных лиц того типа, который так уж изношен в повестях, показывавших, как «среда заедает хороших людей». Катерина не такова: развязка ее любви при всей домашней обстановке видна заранее, еще тогда, как она только подходит к делу. Она не занимается психологическим анализом и потому не может высказывать тонких наблюдений над собою; что она о себе говорит, так уж это, значит, сильно дает ей знать себя. А она при первом предложении Варвары о свидании ее с Борисом вскрикивает: «Нет, нет, не надо! Что ты, сохрани господи: если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете!» Это в ней не разумная предосторожность говорит — это страсть; и уж видно, что как она себя ни сдерживала, а страсть выше ее, выше всех ее предрассудков и страхов, выше всех внушений, слышанных ею с детства. В этой страсти заключается для нее вся жизнь; вся ее натура, все ее живые стремления сливаются здесь. К Борису влечет ее не одно то, что он ей нравится, что он и с виду и по речам не похож на остальных, окружающих ее; к нему влечет ее и потребность любви, не нашедшая себе отзыва в муже, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ее однообразной жизни, и желание воли, простора, горячей, беззапретной свободы. Она все мечтает, как бы ей «полететь невидимо, куда бы захотела», а то такая мысль приходит: «Кабы моя воля, каталась бы я теперь на Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись»... «Толь-

ко не с мужем», подсказывает ей Варя, и Катерина не может скрыть своего чувства и сразу ей открывается вопросом: «А ты почему знаешь?» Видно, что замечание Варвары для нее самой объяснило многое: рассказывая так наивно свои мечты, она еще не понимала хорошенько их значения. Но одного слова достаточно, чтобы сообщить ее мыслям ту определенность, которую она сама боялась им дать. До сих пор она еще могла сомневаться, точно ли в этом новом чувстве то блаженство, которого она так томительно ищет. Но раз произнесши слово тайны, она уже и в мыслях своих от нее не отступится. Страх, сомнения, мысль о грехе и о людском суде — все это приходит ей в голову, но уже не имеет над нею силы; это уж так, формальности, для очистки совести. В монологе с ключом (последнем во втором акте) мы видим женщину, в душе которой решительный шаг уже сделан, но которая хочет только как-нибудь «заговорить» себя. Она делает попытку стать несколько в сторону от себя и судить поступок, на который она решилась, как дело постороннее, но мысли ее все направлены к оправданию этого поступка. «Вот, — говорит, — долго ли погибнуть-то... В неволе-то кому весело... Вот хоть я теперь — живу, маюся, просвету себе не вижу... свекровь сокрушила меня»... и т. д. — всё оправдательные статьи. А потом еще облегчительные соображения: «Видно, уже судьба так хочет... Да какой же и грех в этом, если я на него взгляну раз... Да хоть и поговорю-то, так всё не беда. А может такого случая-то еще во всю жизнь не выйдет...» Этот монолог возбудил в некоторых критиках мысль иронизировать над Катериною, как над бесстыжею ипокриткою, но мы не знаем большего бесстыдства, как уверять, будто бы мы или кто-нибудь из наших идеальных друзей не причастен таким сделкам с совестью. В этих сделках не личности виноваты, а те понятия, которые им вбиты в голову с малолетства и которые так часто противны бывают естественному ходу живых стремлений души. Пока эти понятия не выгнаны из общества, пока полная гармония идей и потребностей природы не восстановлена в человеческом существе, до тех пор подобные сделки неизбежны. Хорошо еще и то, если, делая их, приходят к тому, что представляется натурою и здравым смыслом, и не падают под гнетом условных наставлений искусственной морали. Именно на это и стало силы у Катерины, и чем сильнее говорит в ней натура, тем спокойнее смотрит она в лицо детским бредням, которых бояться причудили ее окружающие. Поэтому нам кажется даже, что артистка, исполняющая роль Катерины на петербургской сце-

не, делает маленькую ошибку, придавая монологу, о котором мы говорим, слишком много жара и трагичности. Она, очевидно, хочет выразить борьбу, совершающуюся в душе Катерины, и с этой точки зрения она передает трудный монолог превосходно. Но нам кажется, что сообразнее с характером и положением Катерины в этом случае — придавать ее словам больше спокойствия и легкости. Борьба, собственно, уже кончена, остается лишь небольшое раздумье, старая ветошь покрывает еще Катерину, и она малопомалу сбрасывает ее с себя... Окончание монолога выдает ее сердце: «Будь, что будет, а я Бориса увижу», заключает она, и в забытых предчувствиях восклицает: «Ах, кабы ночь поскорей».

Такая любовь, такое чувство не уживается в стенах кабановского дома с притворством и обманом. Катерина хоть и решилась на тайное свидание, но в первый же раз, в восторге любви, говорит Борису, уверяющему, что никто ничего не узнает: «Э! Что меня жалеть, никто не виноват, — сама на то пошла. Не жалея, губи меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?»

И точно, она ничего не боится, кроме лишения возможности видеть ее избранного, говорить с ним, наслаждаться с ним этими летними ночами, этими новыми для нее чувствами. Приехал муж, и жизнь ей стала не в жизнь. Надо было таиться, хитрить; она этого не хотела и не умела; надо было опять воротиться к своей черствой, тоскливой жизни, — это ей показалось горче прежнего. Да еще надо было бояться каждую минуту за себя, за каждое свое слово, особенно перед свекровью; надо было бояться еще и страшной кары для души... Такое положение невыносимо было для Катерины: дни и ночи она все думала, страдала, экзальтировала свое воображение, и без того горячее, и конец был тот, что она не могла вытерпеть — при всем народе, столпившемся в галлерее старинной церкви, покаялась во всем мужу. Первое движение его было страх, что скажет мать. «Не надо, не говори, матушка здесь», шепчет он, растерявшись. Но мать уже прислушалась и требует полной исповеди, в заключение которой выводит свою мораль: «Что, сынок, куда воля-то ведет?»

Трудно, конечно, более насмеяться над здравым смыслом, чем как делает это Кабаниха в своем восклицании. Но в «темном царстве» здравый смысл ничего не значит: с «преступницею» приняли меры, совершенно ему противные, но обычные в том быту: муж, по повелению матери, побил

миленько свою жену, свекровь заперла ее на замок и начала есть поедом... Кончены воля и покой бедной женщины: прежде хоть ее попрекнуть не могли, хоть могла она чувствовать свою полную правоту перед этими людьми. А теперь ведь, так или иначе, она перед ними виновата, она нарушила свои обязанности к ним, принесла горе и позор в семью; теперь самое жестокое обращение с ней имеет уже повод и оправдание. Что остается ей? Пожалеть о неудачной попытке вырваться на волю и оставить свои мечты о любви и счастье, как уже покинула она радужные грезы о чудных садах с райским пением. Остается ей покориться, отречься от самостоятельной жизни и сделаться беспрекословной угодницей свекрови, кроткою рабою своего мужа и никогда уже не дерзать на какие-нибудь попытки опять обнаружить свои требования... Но нет, не таков характер Катерины, не за тем отразился в ней новый тип, создаваемый русскою жизнью, — чтобы сказать только бесплодной попыткой и погибнуть после первой неудачи. Нет, она уже не возвратится к прежней жизни: если ей нельзя наслаждаться своим чувством, своей волей вполне законно и свято, при свете белого дня, перед всем народом, если у нее вырывают то, что нашла она и что ей так дорого, она ничего тогда не хочет в жизни, она и жизни не хочет. Пятый акт «Грозы» составляет апофеозу этого характера, столь простого, глубокого и так близкого к положению и к сердцу каждого порядочного человека в нашем обществе. Никаких ходуль не поставил художник своей героине, он не дал ей даже героизма, а оставил ее той же простой, наивной женщиной, какой она являлась перед нами и до «греха» своего. В пятом акте у ней всего два монолога да разговор с Борисом, но они полны в своей сжатости такой силы, таких многозначительных откровений, что, принявшись за них, мы боимся закомментировать еще на целую статью. Постараемся ограничиться несколькими словами.

В монологах Катерины видно, что у ней и теперь нет ничего формулированного; она до конца водится своей натурой, а не заданными решениями, потому что для решений ей бы надо было иметь логические твердые основания, а между тем все начала, которые ей даны для теоретических рассуждений, решительно противны ее натуральным влечениям. Оттого она не только не принимает геройских поз и не произносит изречений, доказывающих твердость характера, а даже напротив — является в виде слабой женщины, не умеющей противиться своим влечениям, и старается оправдывать тот героизм, какой проявляется в ее

поступках. Она решилась умереть, но ее страшит мысль, что это грех, и она как бы старается доказать нам и себе, что ее можно и простить, так как ей уж очень тяжело. Ей хотелось бы пользоваться жизнью и любовью, но она знает, что это — преступление, и потому говорит в оправдание свое: «Что ж, уж все равно, уж душу свою я ведь погубила!» Ни на кого она не жалуется, никого не винит, и даже на мысль ей не приходит ничего подобного; напротив, она перед всеми виновата, даже Бориса она спрашивает, не сердится ли он на нее, не проклинает ли... Нет в ней ни злобы, ни презрения, ничего, чем так красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающие свет. Но не может она жить больше, не может, да и только; от полноты сердца говорит она: «Уж измучилась я! Долго ль мне еще мучиться?.. Для чего мне теперь жить, ну, для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил! — а смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут (показывая на сердце) больно». При мысли о могиле ей делается легче, спокойствие как будто проливается ей в душу. «Так тихо, так хорошо... А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду... Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это?..» И мысль о горечи жизни, какую надо будет терпеть, до того терзает Катерину, что повергает ее в какое-то полугорячее состояние. В последний момент особенно живо мелькают в ее воображении все домашние ужасы. Она вскрикивает: «А поймут меня да воротят домой насильно!.. Скорей, скорей...» И дело кончено: она не будет более жертвою бездушной свекрови, не будет более томиться взаперти с бесхарактерным и противным ей мужем. Она освобождена!..

Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. В том и сила ее характера, оттого-то «Гроза» и производит на нас впечатление освежающее, как мы сказали выше. Без сомнения, лучше бы было, если б возможно было Катерине избавиться другим образом от своих мучителей или ежели бы окружающие ее мучители могли измениться и примирить ее с собою и с жизнью. Но ни то, ни другое не в порядке вещей. Кабанова не может оставить того, с чем она воспитана и прожила целый век; бесхарактерный сын ее не может вдруг, ни с того, ни с сего, приобрести твердость и само-

стоятельность до такой степени, чтобы отречься от всех нелепостей, внушаемых ему старухой; всё окружающее не может перевернуться вдруг так, чтобы сделать сладкою жизнь молодой женщины. Самое большее, что они могут сделать, это простить ее, облегчить несколько тягость ее домашнего заключения, сказать ей несколько милостивых слов, может быть, подарить право иметь голос в хозяйстве, когда спросят ее мнения. Может быть, этого и достаточно было бы для другой женщины, забитой, бессильной, и в другое время, когда самодурство Кабановых покоилось на общем безгласии и не имело столько поводов выказывать свое наглое презрение к здравому смыслу и всякому праву. Но мы видим, что Катерина не убила в себе человеческую природу и что она находится только внешним образом, по положению своему, под гнетом самодурной жизни; внутренне же, сердцем и смыслом, сознает всю ее нелепость, которая теперь еще увеличивается тем, что Дикие и Кабановы, встречая себе противоречие и не будучи в силах победить его, но желая поставить на своем, прямо объявляют себя против логики, то есть ставят себя дураками перед большинством людей. При таком положении дел само собою разумеется, что Катерина не может удовлетвориться великодушным прощением от самодуров и возвращением ей прежних прав в семье: она знает, что значит милость Кабановой и каково может быть положение невестки при такой свекрови... Нет, ей бы нужно было не то, чтоб ей что-нибудь уступили и облегчили, а то, чтобы свекровь, муж, все окружающие сделались способны удовлетворить тем живым стремлениям, которыми она проникнута, признать законность ее природных требований, отречься от всяких принудительных прав на нее и переродиться до того, чтобы сделаться достойными ее любви и доверия. Нечего и говорить о том, в какой мере возможно для них такое перерождение.

Менее невозможности представляло бы другое решение — бежать с Борисом от произвола и насилия домашних. Несмотря на строгость формального закона, несмотря на ожесточенность грубого самодурства, подобные шаги не представляют невозможности сами по себе, особенно для таких характеров, как Катерина. И она не пренебрегает этим выходом, потому что она не отвлеченная героиня, которой хочется смерти по принципу. Убежавши из дому, чтобы свидеться с Борисом, и уже задумывая о смерти, она, однако, вовсе не прочь от побега; узнавши, что Борис едет далеко, в Сибирь, она очень просто говорит ему: «Возьми меня с

собой отсюда». Но тут-то и всплывает перед нами на минуту камень, который держит людей в глубине омыта, названного нами «темным царством». Камень этот — материальная зависимость. Борис ничего не имеет и вполне зависит от дяди — Дикого; Дикой с Кабановыми уладили, чтоб его отправить в Кяхту, и, конечно, не дадут ему взять с собой Катерину. Оттого он и отвечает ей: «Нельзя, Катя; не по своей воле я еду, дядя посылает, уж и лошади готовы», и пр. Борис — не герой, он далеко не стоит Катерины, она и полюбила-то его больше на безлюдьи. Он хватил «образования» и никак не справится ни с старым бытом, ни с сердцем своим, ни с здравым смыслом, — ходит точно потерянный. Живет он у дяди потому, что тот ему и сестре его должен часть бабушкина наследства отдать, «если они будут к нему почтительны». Борис хорошо понимает, что Дикой никогда не признает его почтительным и, следовательно, ничего не даст ему; да этого мало. Борис так рассуждает: «Нет, он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость, да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало». А все-таки он живет у дяди и сносит его ругательства; зачем? — неизвестно. При первом свидании с Катериной, когда она говорит о том, что ее ждет за это, Борис прерывает ее словами: «Ну, что об этом думать, благо нам теперь хорошо». А при последнем свидании плачется: «Кто же это знал, что нам за нашу любовь так мучиться с тобой. Лучше бы бежать мне тогда!» Словом, это один из тех весьма нередких людей, которые не умеют делать того, что понимают, и не понимают того, что делают. Тип их много раз изображался в нашей беллетристике — то с преувеличенным состраданием к ним, то с излишним ожесточением против них. Островский дает их нам так, как они есть, и с особенным, свойственным ему уменьем рисует двумя-тремя чертами их полную незначительность, хотя, впрочем, не лишенную известной степени душевного благородства. О Борисе нечего распространяться: он, собственно, должен быть отнесен тоже к обстановке, в которую попадает героиня пьесы. Он представляет одно из обстоятельств, делающих необходимым фатальный конец ее. Будь это другой человек и в другом положении, тогда бы и в воду бросаться не надо. Но в том-то и дело, что среда, подчиненная силе Диких и Кабановых, производит обыкновенно Тихонов и Борисов, неспособных воспрянуть и принять свою человеческую природу даже при столкновении с такими ха-

рактерами, как Катерина. Мы сказали выше несколько слов о Тихоне; Борис — такой же, в сущности, только «образованный». Образование отняло у него силу делать пакости, правда, но оно не дало ему силы противиться пакостям, которые делают другие; оно не развило в нем даже способности так вести себя, чтобы оставаться чуждым всему гадкому, что кишит вокруг него. Нет, мало того, что не противодействует, он подчиняется чужим гадостям, он волей-неволей участвует в них и должен принимать все их последствия. Но он понимает свое положение, толкует о нем и нередко даже обманывает на первый раз истинно живые и крепкие натуры, которые, судя по себе, думают, что если человек так думает, так понимает, то так должен и делать. Смотри с своей точки, этикие натуры не затруднятся сказать «образованным» страдальцам, удаляющимся от горестных обстоятельств жизни: «Возьми и меня с собой, я пойду за тобою всюду». Но тут-то и окажется бессилие страдальцев; окажется, что они и не предвидели, и что они проклинают себя, и что они рады бы, да нельзя, и что воли у них нет, а главное — что у них нет ничего за душою и что для продолжения своего существования они должны служить тому же самому Дикому, от которого вместе с нами хотели бы избавиться.

Ни хвалить, ни бранить этих людей нечего, но нужно обратить внимание на ту практическую почву, на которую переходит вопрос; надо признать, что человеку, ожидающему наследства от дяди, трудно сбросить с себя зависимость от этого дяди, и затем надо отказаться от излишних надежд на племянников, ожидающих наследства, хотя бы они и были «образованны» по самое нельзя. Если тут разбирать виноватого, то виноваты окажутся не столько племянники, сколько дяди, или, лучше сказать, их наследство.

Впрочем, о значении материальной зависимости, как главной основы всей силы самодуров в «темном царстве», мы пространно говорили в наших прежних статьях. Поэтому здесь только напоминаем об этом, чтобы указать решительную необходимость того фатального конца, какой имеет Катерина в «Грозе», и, следовательно, решительную необходимость характера, который бы, при данном положении, готов был к такому концу.

Мы уже сказали, что конец этот кажется нам отрадным; легко понять, почему: в нем дан страшный вызов самодурной силе, он говорит ей, что уже нельзя идти дальше, нельзя долее жить с ее насильственными, мертвящими началами. В Катерине видим мы протест против кабановских понятий

о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен за ее живую душу. Ее погибель — это осуществленная песнь плена вавилонского¹: играйте и пойте нам песни сионские, — говорили Иудеям их победители; но печальный пророк отозвался, что не в рабстве можно петь священные песни родины, что лучше пусть язык их прилипнет к гортани и руки отсохнут, нежели примутся они за гусли и запоют сионские песни на потеху владык своих. Несмотря на все свое отчаяние, эта песнь производит высоко отрадное, мужественное впечатление: чувствуешь, что не погиб бы народ еврейский, если б весь и всегда одушевлен был такими чувствами.

Но и без всяких возвышенных соображений, просто по человечеству нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли нельзя иначе. На этот счет мы имеем в самой драме страшное свидетельство, говорящее нам, что жить в «темном царстве» хуже смерти. Тихон, бросаясь на труп своей жены, вытасченный из воды, кричит в самозабвении: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!» Этим восклицанием заканчивается пьеса, и нам кажется, что ничего нельзя было придумать сильнее и правдивее такого окончания. Слова Тихона дают ключ к уразумению пьесы для тех, кто бы даже и не понял ее сущности ранее; они заставляют зрителя подумать уже не о любовной интриге, а обо всей этой жизни, где живые завидуют умершим, да еще каким — самоубийцам! Собственно говоря, восклицание Тихона глупо: Волга близко, кто же мешает и ему броситься, если жить тошно? Но в том-то и горе его, то-то ему и тяжело, что он ничего, решительно ничего сделать не может, даже и того, в чем признает свое благо и спасение. Это нравственное растление, это уничтожение человека действует на нас тяжелее всякого, самого трагического происшествия; там видишь гибель одновременную, конец страданий, часто избавление от необходимости служить жалким орудием каких-нибудь тусклостей; а здесь — постоянную, гнетущую боль, расслабление, полутруп, в течение многих лет сгнивающий заживо. И думать, что этот живой труп — не один, не исключение, а целая масса людей, подверженных тлетворному влиянию Диких и Кабановых! И не чаять для них избавления, это,

¹ «Песнь плена вавилонского» — псалом Давида.

согласитесь, ужасно. Зато какую же отрадную, свежую жизнью веет на нас здоровая личность, находящая в себе решимость покончить с этой гнилою жизнью во что бы то ни стало!

На этом мы и кончаем. Мы не говорили о многом — о сцене ночного свидания, о личности Кулигина, не лишенной тоже значения в пьесе, о Варваре и Кудряше, о разговоре Дикого с Кабановой и пр. и пр. Это оттого, что наша цель была указать общий смысл пьесы, и, увлекаясь общим, мы не могли достаточно входить в разбор всех подробностей. Литературные судьи останутся опять недовольны: мера художественного достоинства пьесы недостаточно определена и выяснена, лучшие места не указаны, характеры второстепенные и главные не отделены строго, а всего пуще — искусство опять сделано орудием какой-то посторонней идеи!.. Всё это мы знаем, и имеем только один ответ: пусть читатели рассудят сами (предполагаем, что все читали или видели «Грозу»), точно ли идея, указанная нами, совсем посторонняя «Грозе», навязанная нами насильно, или же она действительно вытекает из самой пьесы, составляет ее сущность и определяет прямой ее смысл?.. Если мы ошиблись, пусть нам это докажут, дадут другой смысл пьесе, более к ней подходящий. Если же наши мысли сообразны с пьесой, то мы просим ответить еще на один вопрос: точно ли русская живая натура выразилась в Катерине, точно ли русская обстановка во всем, ее окружающем, точно ли потребность возникающего движения русской жизни сказана в смысле пьесы, как она понята нами? Если «нет», если читатели не признают здесь ничего знакомого, родного их сердцу, близкого к их насущным потребностям, тогда, конечно, наш труд потерян. Но ежели «да», ежели наши читатели, сообразив наши заметки, найдут, что точно русская жизнь и русская сила вызваны художником в «Грозе» на решительное дело, и если они почувствуют законность и важность этого дела, тогда мы довольны, что бы ни говорили наши ученые и литературные судьи.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Островский А. Н. Гроза | 2 |
| Добролюбов Н. А. Луч света в темном царстве (критическая статья) | 58 |

Для неполной средней и средней школы

Ответственный редактор *И. Воробьева*.
Подписано к печати 6/II 1943 г. 6^{1/2} печ. л. (6 уч.-изд. л.) 4/320 зн. в печ. л.
Тираж 50 000 экз. №122528. Заказ № 2/65. Цена 1 р. 60 к.

Фабрика детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР. Москва,
Сушевский вал, 49.



Цена : р. 80 к.